

ВС. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ



ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ШКАТУЛКА ПАМЯТИ





ВСЕВОЛОД РОЖДЕСТВЕНСКИЙ

ШКАТУЛКА ПАМЯТИ

Н О В Е Л Л Ы

Л Е Н И З Д А Т • 1972

7-3-2

202-1972

Стопка неровно нарезанных листов, запись то карандашом, то чернилами... На измятых страничках следы дождевых капель и лесных ягод.

Я перебираю одну за другой эти странички, и над каждой из них невольно задерживается моя память. Вот это писал лежа на разостланной шинели в высокой траве, где пахло земляникой и прогретой землей, а по бумаге бежали легкие сквозные тени от старой скрипучей березы. Это — в сумраке зимнего блиндажа, при свете жалкой копилки, порою вздрагивающей от близкого глухого удара. Это придумалось мне, когда я шел под дождем по лесной осенней дороге мимо недавних воронок, вдоль идущего от дерева к дереву телефонного провода. А это возвращала мне память из пережитого в блокадном Ленинграде.

Тяжелые серые тучи над Ладожским озером, темная хвойная глушь непроходимых волховских болот, лесные кругозоры Новгорода, светлые озера и сосны Карелии — вот что видел я перед собой, отрываясь от мелко исписанной страницы.

Книга эта никогда бы не появилась на свет, если бы не носил я первых ее листков в полевой своей сумке, не читал бы из нее вслух на случайных журналистских ночевках и привалах, не рассказывал бы

грустных и веселых, задумчивых и беспечных историй своим фронтовым друзьям. В круговой беседе, когда кипел общий котелок, мы забывали усталость. Здесь был наш дом, наш недолгий отдых, наша надежда и наша улыбка.

И когда перебираешь эти листки в комнате, куда доносится постукивание молотков и запах извести, где на столе в вазе распустилась сирень возрожденных пушкинских парков, а в распахнутом настежь окне горит и не сгорает сбросившая серый защитный чехол Адмиралтейская игла, — видишь, что прекрасный наш город дышит свободно и ровно, что годы боевых испытаний и неустанного мужества сделали его живым существом, к которому обращаются как к другу, как к собеседнику все, кто делил его неповторимую, героическую судьбу.

Встают в памяти лица фронтовых друзей, их живые и угасшие голоса, и многие привычные мелочи тогдашнего кочевого армейского быта перестают быть только мелочами, обреченными забвению. Всё было нужно и всё одинаково дорого или, по крайней мере, казалось таким нам, участникам самых грозных и величественных событий, которые когда-либо потрясали мир.

Для них, друзей и соратников, — сквозь все расстояния и разлуки — я и пытался воскресить эти тихие и незамысловатые рассказы.

* Рождественский



ФРОНТОВАЯ ЗЕМЛЯНКА



КОЛОКОЛА СОФНИ

В январскую метельную ночь сорок четвертого года, после ожесточенных боев на подступах к городу, наши войска овладели древним Новгородом, три года томившимся во вражеском плену. Немцы бежали так стремительно, что части Красной Армии прошли город с ходу.

Бои грохотали уже далеко за Волховом, и сюда, в разрушенный, сожженный город, доносились только

слабые отзвуки канонады. На улицах было непривычно тихо. Шел мелкий снег, и зимнее мохнатое солнце нехотя поднималось над низкими, запущенными поземной холмами.

Через полукруглые приземистые ворота в толстой старинной стене я прошел в кремль.

Белостенные корпуса митрополичьих покоев, поцарапанные пулями, утонули в глубоких сугробах. Окна без стекол, крыши в пробоинах. Мертво и пусто вокруг. Еще один поворот, и прямо перед глазами — сахарно-белая, скромная и чистая во всех своих очертаниях, дивно вырастающая из земли пятиглавая София. Густая оспа пулеметных выбоин ничуть не испортила ее прекрасного лица. Свидетельница столетий веков, она стоит пезыблемо и твердо. Ее главы, как сурово надвинутые воинские шлемы, спокойно глядят на лежащий у ног разбитый, израненный город. Не раз выпадали ей на долю жестокие испытания истории: вражеские осады, пожары, мор, голодные времена... Она слышала еще так недавно у своих девственных стен тяжкий, тупой шаг немецких вахтпарадов. И стоит непоколебимо, как русская слава, как высокое пламя свечи, как негасимая мечта о простой и скромной красоте, сложенной из вечного камня русскими людьми.

А в Новгороде, опустошенном врагами, уже начинается новая жизнь.

...В тесной комнатухе единственного дома, каким-то чудом сохранившего стекла, сидит за голым столом ответственный работник Новгородского горсовета. У него помятое, усталое лицо человека, не спавшего несколько ночей подряд. Он в жидком пальто с поднятым воротником, в потертой меховой шапке. На узеньком диванчике — двое бородатых колхозников и рябая

женщина, обмотанная платком. А человек за столом что-то быстро пишет и одновременно выслушивает просьбы. Время от времени крутит ручку полевого телефона и охрипшим голосом терпеливо и настойчиво объясняет, дает распоряжения, ругает кого-то, заливается добродушным смехом.

Скупое январское солнце заглядывает в окна. В этом доме еще недавно был эсэсовский офицерский клуб. На стенах непривычно пестреют тирлянды каких-то фантастических плодов, а над ними в идиотском однообразии повторяются три розовых пляшущих поросенка в шапочках набекрень. В комнату понемногу входят новые люди, всё чаще трещит телефон. Это первый советский день в освобожденном Новгороде.

— Ну вот! — говорит наконец работник торгсовета, подписывая последнюю бумагу. — Можно с полчасика и отдохнуть. У меня голова что-то разболелась. Не хотите ли пройти со мной по городу? Надо поглядеть, что делается.

Мы выходим на улицу. Она уже гораздо оживленнее, чем вчера. Жители понемногу возвращаются на старые места. Идут пешком, волоча за собой саночки с узлами и домашней рухлядью.

Проходим к недавно наведенному саперами мосту через Волхов.

— Знаете, — говорит мой спутник, указывая на мутную бурливую быстрину. — Река в этом месте никогда не промерзает. Старые люди рассказывают — есть такая новгородская легенда, — будто в давние века жестоких войн и тревог так залит был Волхов черной вражеской кровью, что с тех пор его никакой мороз не берет.

Осторожно, помогая друг другу, мы пробираемся к самым кремлевским стенам. Здесь на отлогом взгорье

полузатаявшиеся снегом темные медные глыбы — четыре колокола софийской звонницы.

— Вот, — замечает мой спутник, — поглядите на этих красавцев! Их только вчера выволокли из Волхова. У них уже есть своя история. Когда в августе сорок первого года подходили к Новгороду враги, встала перед нами трудная задача: за два-три дня эвакуировать население и вывезти ценности. Эвакуация прошла хорошо. С ценностями дело было потруднее. Особенно много хлопот доставило нам редкое музейное имущество. Однако вывезли почти всё. Даже чугунные «Корсунские ворота» из Софийского собора. В художественном отношении это сокровище неповторимое. Работали всем городом день и ночь не покладая рук. Каждая минута была дорога. Ну как будто всё. И вдруг бегут ко мне: «А как же колокола?» — «Какие колокола?» — «Да вот, спущены со звонницы, и дальше неизвестно, что с ними делать».

В самом деле, думаю, что же с ними делать? Лежат такие чудища на боку — с места не сдвинешь... Секретарь мой — совсем запарился человек, пот у него на ушах, как сережки, блестит — из себя вышел: «Да ну их! И так времени нет, а тут еще возиться!»

«Э, нет, друг, — говорю. — Тут дело особое. Это старина, древность, искусство. Их еще при Василии Третьем повесили. Сколько народу слушало их голоса на своем веку — и в горе, и в радости. Привыкли к ним новгородцы. Вот вернемся обратно — и как же новгородскому музею без своих колоколов? Ты об этом подумал?» А секретарь говорит: «Справится ли с этим делом народ-то? Работников маловато».

Плотники, грузчики — все, кто тут был, кричат в один голос: «Ладно, справимся, не оставлять же такое добро!» Быстро у них и план созрел. Набили каждому колоколу на ухо кругляк огромный — и получи-

лась катушка. Думали катить в ворота — далеко. А тут уж немецкие снаряды в городе рвутся, терять времени нельзя.

«Ломай, ребята, проход в стене, всё ближе к Волхову!» — вдруг крикнул кто-то.

Пустили мы свои катушки через пролом по откосу к реке. Запрыгали у нас эти громадины, как мячики, и со всего разбега бултыхнули в воду, морскому царю на сохранение. Ловко всё это вышло, — плеснуло, как из пушки, а брызги чуть не до солнца. Но самый большой колокол хряснул по дороге деревянным своим колесом и с маху врезался в берег. Ну что ты тут будешь делать? «Бросайте его! — кричат старатели. — Время самим уходить».

Ну, нет, думаю, взялся хранить народное имущество, надо до конца довести. Зову командира саперного взвода. «Можете, — спрашиваю его, — рядом с этим чудищем яму сделать, чтобы его потом туда свалить и закопать?» — «Что же, — говорит, — можно. Толу у нас хватит, и дело это минутное. Только риск есть». — «Какой риск?» — «А такой, что когда я эту землю на воздух дерну, то и сам колокол может пополам пойти. Надо ведь совсем рядом заряды класть, чтобы он сам в яму лег». — «Ладно, выбирать не приходится. Времени нет. Давайте взрыв!»

Ну он и дернул! У меня до сих пор звон в ушах, как только вспомню. Подбежали мы к воронке, а уже колокол там сидит, наполовину землей засыпан. Закидали мы его песком так, что смотреть любо-дорого, — гладкое место. А фашисты так и кроют снарядами...

Рассказчик сдвинул шапку на затылок и добавил раздумчиво:

— Одно только и утешало, что сюда вернемся. Около трех лет ждали этой минуты. Вот и пришла она наконец! Не узнал я родного города. Что сделали мер-

завцы, что сделали! Иду по улицам, как пьяный, куда ни поглядишь — голова кругом. На берегу, между прочим, вспомнил и о колоколах. А тут как раз понтонеры мост наводят. Я к ним, объясняю, в чем дело. Заинтересовались ребята. И действительно нашли колокола на дне. Все целы. «Мы их сейчас оттуда мигом», — говорят. Ну, мигом не мигом, а выкатили на берег. Всем народом, кто тут был, помогали. Вот они тут три и лежат. Четвертый, самый большой, отыскивали тоже. И представьте, ни единой трещины, как живой. Мы только руками развели. Крепко лили в старину, на совесть. Вот они, любуйтесь!

На примороженном темно-зеленом сплаве отчетливо выступили по-змеиному перецлетенные буквы древней славянской вязи. Мои пальцы осторожно погладили могучее отдыхающее тело колокола.

Спутник нагнулся, поднял с морозной земли камешек и отрывисто стукнул им по медной крутизне. Слабый, но невыразимо приятный отзвук побежал по металлу. Он стукнул еще раз, и тонкая певучая нота расплелась и опала в настороженной тишине мягкого, заснеженного утра.

— Живет! — сказал он, улыбаясь. — Живет! Дышит!

И все, кто был кругом, улыбнулись тоже.

Мы поднимались по пригорку молча. Багряное солнце висело над одной из кремлевских башен. Вороны хлопотливо кружились над оголенными березами. А в чуть зеленоватом, просветлевшем небе, за израненной кремлевской стеной, спокойно и твердо, словно вырастая из земли, поднималась в снежной чистоте пятиглавая Новгородская София.



ТРИ ЗНАКА

Еще ночью ледок похрустывал под сапогом, а с утра, когда брызнуло солнце и задымился влажной синевой лес на том берегу, в долину стремительно и яростно хлынули мутноватые веселые ручьи. Крутясь и пенясь у старых корней, они прыгали с кочки на кочку, унося с собой щепки и прошлогоднюю солому. Ослепительно сверкала на солнце их коричневая спина.

По дороге во всю ширину разошлись голубоватые лужи, и ветерок то и дело мял их в мягкие складки, как тонкую бумагу.

Солнце на глазах съедало грязноватые, низко осевшие проплешины снега. В низинах колеса еще вязли в густой, как сапожная мазь, грязи, а на пригорках ветер поднимал легкую пыль, и всем, кто сидел, покуривая, на прогретых с утра бревнах, хотелось расстегнуть ворот, снять шапку и поглубже втянуть ноздрями пьяный запах прелого листа, снега, оттаявшей земли.

Только вчера батальон отвели с переднего края на отдых, а уже с рассвета началась привычная солдатская работа: приспособляли для жилья покинутые землянки, стирали белье на топких берегах речушки, рубили сучья и ельник для дорожного настила. И было такое чувство, точно люди живут здесь давно, на прочной стоянке, и вряд ли соберутся ехать дальше.

Корыхалов сидел на низеньком пенечке, широко расставив ноги, и старательно вытачивал ножом деревянную ложку. Он упрямо прикусил нижнюю губу, его маленькие глазки были сердиты и сосредоточенны. Коротко стриженная, мальчишески круглая голова по-птичьи вертелась в слишком широком воротнике шинели. А желтые, словно медом пахнущие стружки весенним цветом осыпались на землю, забираясь иногда в рукав и приятно щекоча кожу. Корыхалов вытряхивал их и улыбался чему-то, щуря светло-серые, с легкой лукавинкой глаза. Потом, вздохнув, снова всей грудью налегал на рукоятку ножа. Вдруг он поднял голову. По жесткой, уже подсохшей траве сбежал к нему повозочный Трифонов, неуклюже размахивая большими руками.

— Корыхалов, до командира, живо! — крикнул он еще издали и тяжело перевел дыхание.

Капитан Кузнецов, в расстегнутом кителе, писал, низко пригибаясь к столу. Слабый свет падал из крошечной квадратной прорези под потолком блиндажа. Корыхалов потоптался у порога и нерешительно кашлянул. Капитан поднял голову:

— Вы, кажется, тихвинский, товарищ Корыхалов?

— Тихвинский, товарищ гвардии капитан. Километров двенадцать от города.

— Ну так вот. Поедете в командировку в этот самый Тихвин. Даю вам четверо суток. Если обернетесь с делами, можете заехать к себе в деревню.

У Корыхалова даже дух захватило от неожиданности. Он переступал с ноги на ногу и не знал, что ответить. Добро был бы он знаменитый снайпер или герой, представленный к награде! А то просто так, рядовой боец второго взвода, исполнительный, правда, но не более, чем все другие. Откуда ему такая честь?

Но размышлять было некогда. Капитан сложил вчетверо бумажку и протянул ее Корыхалову:

— Вот командировочная. Собирайтесь сегодня же вечером. Жду вас обратно,—он помолчал секунду и глубоко затянулся самокруткой,—к двадцати часам одиннадцатого. Подробности узнаете у старшины. Ясно?

— Ясно, товарищ капитан! — звонко выкрикнул Корыхалов и выбрался наверх не чуя под собой ног. Еще бы! Вот уже почти три года, как не был он дома.

В вещевом мешке все было уложено аккуратно и толково. Как ни волновался Корыхалов, а природная хозяйственность и сметка делали свое дело. Он ничего не забыл и всему нашел свое место. Но мысли его были далеко. Когда тебе еще нет двадцати и ушел ты на войну с первых ее дней, когда ты съел не один пуд

солдатской соли, раза четыре ходил в атаку, был контужен и заслужил ефрейторскую лычку, ты уже чувствуешь себя не простым парнем, а настоящим гвардейцем, которому многие на деревне могли бы позавидовать. А давно ли еще ловил он рыбу с ребятами, пас колхозное стадо, по-мальчишески увивался около тракториста! Теперь же, пожалуй, ни у кого и язык не повернется назвать его просто Митей.

После смерти отца он теперь сам хозяин — Дмитрий Петрович. А вернется с фронта, быть может его и бригадиром выберут — за расторопность. А там — кто его знает — может, и председателем станет. Он уж к тому времени женится на Даше Калязиной, и будет около него бегать маленький Митюшка...

Корыхалов сидел на нарах рядом со своим мешочком и старательно чистил зубным порошком и без того сверкающий гвардейский знак. Он прилаживал его на левую сторону груди, поглядывая, скосив глаза, как всё это выглядит, и снова ожесточенно принимался тереть золотой венчик и алую эмаль флажка. Лицо его сияло подобно только что отчищенному металлу.

И вдруг легкая складка озабоченности легла между бровями. Митя даже задержал дыхание. Рука его замерла на весу. Он старательно отложил работу в сторону и направился в соседнюю землянку. Там начались какие-то таинственные переговоры с двумя-тремя приятелями. Дело не без труда, но всё же увенчалось успехом, и возвращался Корыхалов довольный. Заботливо завернув какой-то предмет в чистую тряпочку, он опустил его в нагрудный карман гимнастерки.

В Тихвине забот оказались больше, чем он думал, но Митя не жалел ни ног, ни времени. Он бегал из одного конца города в другой, — некогда было даже пот

вытереть. На второй день к утру всё уже было готово. Теперь никто не может его упрекнуть в том, что он не справился с заданием, что-нибудь забыл или перепутал. Вернется, придет к командиру и доложит: «Всё в порядке, товарищ гвардии капитан!»

Корыхалов даже улыбнулся при этой мысли и лихо сдвинул на затылок шапку-ушанку. Так хорошо обернул он дело, что еще целые сутки у него в запасе и можно мигом слетать в родное Сугорово.

Митя вышел знакомой с детства дорогой по уже просыхающей обочине почтового тракта. Идти ему было легко, несмотря на то что на сапогах налипло с полпуда грязи. Ноги так и несли сами к дому. Он скинул шинель, приладил ее за спиной, широко растегнул ворот гимнастерки. Легкий, еще снежный ветерок приятным холодком обтекал его гладко стриженную голову. Ноздри то и дело раздувались, чуя родной запах земли и прелых, размягших пашен.

В пригретой синеве неба уже заливались, трепеща крылышками, ранние жаворонки. На побуревшем прошлогоднем бурьяне качалась бледно-желтая бабочка. А коричневые ручьи, сбивая грязноватую пену, неумолчно ворчали у деревянных устоев моста.

Так шел Корыхалов часа два-три, не отдыхая, пока вдали, с пригорка, не блеснула ему в глаза широкими полыньями родная извилистая Сясь. Теперь уже близко! Вот справа осталось Чемихино, вон Ильинский погост с полуразвалившейся каменной церковью. А вот в небольшой ложбине серые, но чистенькие избенки Сугорова! Как забилося, запрыгало сердце! Митя прибавил было шаг, спускаясь по знакомой тропинке, но тотчас же сдержал себя и, выбрав пригорок посуше, скинул наземь мешок и шинель. В ближайшем ручейке он долго мыл сапоги, очищая их щепочкой от налипшей грязи. Вымылся и сам, вытащив заветное

полотенце, и, пока просыхали выставленные на солнце голенища, неторопливо закурил папироску. Потом старательно, до блеска, начистил сапоги.

Оставалось последнее. Корыхалов разостлал у себя на коленях гимнастерку, вынул из кармана белый пакетик, долго что-то прилаживал, низко склонив под припекающим солнцем густо загоревший затылок. А когда натянул гимнастерку на плечи и молодежато одернул ее сзади, на его крутой молодой груди ярко сверкнули три новеньких, до блеска отчищенных гвардейских знака.

Первой увидела Митю, когда он шел серединой деревенской улицы во всем своем гвардейском великолепии, тринадцатилетняя сестренка Санчутка. Проглотив изумленный вздох, но так и не успев закрыть рта, она опрометью пустилась вдоль канавы, расплескивая босыми ногами золотистую грязь. Ее белесые косички смешно разлетались в разные стороны.

Митя шел степенно, не подавая никаких признаков нетерпения. А от родной избы уже бежали навстречу еще две сестренки. Позади, торопливо появлявая платок трясущимися от волнения руками, едва попевала мать. Рыжий Дружок опередил всех и с громким лаем кинулся Мите на грудь, едва не сбив его с ног...

Митя пришел вовремя, как раз к обеду. Было воскресенье, и потому вся деревня обедала позднее, чем обычно.

Когда он хлебал из знакомой деревянной чашки густое крошево, куда мать наскоро прибавила кусочки привезенного им с собою сала, к двум подслеповатым окошечкам то и дело прилипали чья-то любопытные, улыбающиеся лица, знакомые или незнакомые —

трудно было понять, до того всё мешалось и плыло перед глазами, особенно после второго стаканчика водки, тотчас добытой откуда-то соседом по избе, дедом Степой Телепановым. В голове у Мити мягко шумело и легонькими молоточками ударяло в виски. Он улыбался беспричинно, зачерпнув ложку, забывал поднести ее ко рту, сыпал расспросами, рассказывал сам и вновь переходил к вопросам. Через полчаса он уже знал все новости деревни, все ее радости, заботы, печали. Косматый дед Степа, осторожно держа заскорузлыми, горбатыми пальцами предложенную Митей папироску, вдруг собрал в морщины бурое, обожженное солнцем лицо и протянул жалобно, слегка потупясь:

— Вот мы тут, можно сказать, пируем, а в Суглинках-то — далеко ли до нас? — немцы чего сделали! Как наши стали нажимать от Тихвина, они давай бог ноги, да полдеревни как топором снесли. А потом подожгли с двух концов. Теперь там одно пенёк осталось. Народу сколько с собой угнали, сказать страшно!.. А мимо нас боком прошло, бог миловал. Гудел тут один ихний по воздуху, бросал бомбу — тетки Марьи баньку снес да берёзину с корнем выдрал... Только и всего. Турнули тогда их от Тихвина.

Замолчал дед. Замолчал и Митя. Молчали все, кто был в избе. Только и было слышно, как бьется у стекла ранняя муха. На пороге, куда уже набилось немало народу, всхлипнула какая-то старуха и тотчас же прижала к губам уголок платка.

— Да, брат, повидали мы тут немало, — протянул опять Степа и, вздохнув, разлил по стаканам остатки водки, — но теперь время уже не то. Это понимать надо! Красная Армия стукнет им, сволочам, еще разок — и полетят они... сам знаешь куда!

Он вышел и, крикнув, с особенным стуком припечатал к столу опорожненный стакан. Старушка в

платочке истою перекрестилась, а по всем лицам пробежала улыбка.

И опять зашумела, загудела изба. Опять начались расспросы, рассказы. Но мать, встав из-за стола, вытеснила с порога всех посторонних. По-молодому ступая босыми ногами, она ловко и скоро постлала на полу мягко взбитый сеник, покрыв его огромной подушкой и легким, сшитым из цветных лоскутков одеялом.

— Может, спать повалишься? — сказала она Мите с неторопливым распевом, и в ее глазах, обычно суровых и словно потухших, всплыла знакомая, памятная с детства искорка.

Но Мите спать не хотелось. Обмахнув веником сапоги и набросив шинель внакидку, он вышел на улицу.

— Куда это он? — бросилась мать к окошку.

— А к Калязиным, — шепотом, задыхаясь от волнения, пропела за ее плечом Санчутка. — Дашка-то калязинская небось раза три к воротам выбегала...

Мать, не отвечая, глядела на улицу и тихо плакала. «И чего это она?» — недоумевала Санчутка.

Вечером в избу набилось еще больше народу. На этот раз уже не топтались в сенях, а чинно уселись по лавкам, табуреткам или просто на пороге. Те, которым не хватило места, стояли вдоль стен. Задние вытягивали шеи, чтобы хоть что-нибудь рассмотреть.

А посередине избы шло торжество. На широком столе, застланном полотенцами, среди мисок с кислой капустой, солеными грибами, дымящейся картошкой и горкой свежеспеченных калиток и сканцев бил струей пара в потолок яростно начищенный, ослепительный, как солнце, самовар.

Чарочка уже давно ходила по рукам. Гости и родня, перебивая друг друга, сливали голоса в неясный, то затихающий, то разгорающийся гуд.

На самом видном, на хозяйском месте сидел Митя, красный, сияющий, размахивающий руками. Капельки пота поблескивали на его мальчишески крутых висках. И таким же блеском, принимая на себя лучи керосиновой лампы, переливались на его груди три гвардейских знака. Против него, опираясь на кулачок, Даша Калязина в новой пунцовой кофте, не мигая, смотрела куда-то счастливыми, невидящими глазами. Лицо ее то бледнело, то заливалось румянцем. Непослушная детский счастливая улыбка трогала чуть припухшие губы.

А Митя; уже успевший рассказать о своей роте, о трудных переходах, о волховских болотах, о синявинской горячей поре, все время возвращался к новым и новым подробностям. Слушали его жадно.

Дед Степа, тоже выпивший не одну чарку, пошевеливал косматыми бровями и хитро поглядывал на Митю. Был он мужик умный и многое в своей жизни повидавший. Воевал он и на японской, и с германцами. Было ему о чем и самому порассказать!

Слушал он Митю внимательно, по-стариковски, не пропуская ни единого слова, и всё было ему удивительно, что это тот самый Митька, которого частенько гонял он хворостиной из колхозного сада.

Когда наливали гвардейцу новую чарку, не утерпел старик и вставил свое словечко:

— А скажи, кавалер, что это у тебя на груди блесит? За какие заслуги отечеству?

— Это... — улыбнулся Митя снисходительно, — это, Степушка, знаки воинской доблести и, значит, боевого отличия.

— А позвольте спросить, за что это вам было дано?

— Ну коль вам желательно узнать, — пожалуйста. Первое за то, что, когда брали мы высоту «ноль двадцать шесть» и ударили всею ротой на неприятеля, я, значит, первым спрыгнул в ихний окоп и самого фельдфебеля положил прикладом на месте.

Все ахнули и пододвинулись поближе к рассказчику.

— Второй орденский знак, — продолжал Митя, — даден за танк под деревней Венеглово. Лежим мы в окопах, а он прямо на нас прет. «Корыхалов! — кричат мне ребята. — Не подкачай!» А я уж приложился. Раз! Другой! А он всё лезет да лезет. Схватил я тогда связку гранат и со всего размаха ему под брюхо. Рвануло так, что земля вкось пошла. И вижу: осел танк на левый бок, а гусеницей, словно лапой, землю скребет. И ни с места. Дым оттуда клубом до самого неба. Ну, думаю, ловко, в самую точку!

Слушатели вздохнули восхищенно, а Митя вновь обратился к деду, уже переходя на тон снисходительно-небрежный:

— А третья награда за то, что о прошлой осени привел я «языка» подполковнику Савельеву. Из разведки я этого немца почитаю километра три волоком тащил.

Дед Степа опустил бороду на грудь и крякнул одобрительно. Рука его потянулась за стаканом.

— Ну и Митя! Герой-парень! Выпьем за героя!

И снова пошли стучать стаканчики, и снова загудели, зашумели вокруг голоса. Кто-то крикнул «ура!». Митя первый покрыл общий гул молодым и звонким голосом, от которого зазвенело в ушах. Его обступили, обнимали, хлопали по плечу. А он, раскрасневшийся, расплескивая водку, отвечал на объятия и пытался еще сказать что-то, но уже никто не слушал друг друга. Тихо кружилась родная изба, и как сквозь ту-

ман видел он где-то там, за обступившей его родней, сияющее восторгом милое веснушчатое Дашино лицо со вздернутым носиком и испуганно-счастливыми, чуть-чуть раскосыми глазами...

Едва только задело утреннее солнце верхушку старой, в незапамятные времена посаженной березы, как Митя уже был на ногах.

Он старательно увязывал вещевой мешок, доверху набитый деревенскими гостинцами, а мать раздувала в сениях самовар и, всхлипывая потихоньку, каждый раз отворачивалась, чтобы не заметили из избы.

За стол сели молча, торжественно, и почти никто не притронулся к горке еще ночью напеченных калинок. Санчутка прижалась худеньким плечиком к брату и то и дело потрагивала его за рукав, словно не решаясь сказать ему что-то особенно любопытное, занимательное для них обоих. Ее острый смешливый носик был трогательно печален, но в глазах то и дело вспыхивало всегдашнее неудержимое веселье.

А сам герой сидел строго и, приличия ради, прихлебывал чай из стакана, держа его на весу, словно желая показать, что человек торопится в долгую дорогу и что некогда ему терять попусту время.

Провожали Митю всей деревней. Он, как и вчера, шел серединой улицы, молодцеватым, почти строевым шагом, лихо относя руку, окруженный бабами и ребятишками, забежавшими вперед, чтобы еще раз заглянуть на его сияющую грудь. Вкусно хрустели под его сапогами подмерзшие за ночь лужицы. Солнце охватило уже полполя, и длинные тени березок перерезали дорогу.

За околицей народ стал понемногу отставать. Митя всем жал руки, толкал под бок смеющихся, закутанных

в платки девок, крепко прижал к груди мать, торопливо чмокнул в щеку внезапно застеснявшуюся Санчутку. Ему не хотелось долгих проводов, потому что он в последнюю минуту боялся не то чтобы потерять собственное достоинство, а, говоря попросту, пустить мальчишескую слезу. Уж и так что-то горькое подступало ему к горлу, и он сердито похлестывал прутиком по сверкающим голенищам. Даша — из приличия и стыдливости — давно уже отстала от провожающих и только тоскливо смотрела ему вслед с родного порога. Вот уже позади деревня, вот уже едва различимы белый платок матери да синее платье сестренки у крайней избы. Солнце ползет всё выше и выше своей голубой дорогой; и утренняя свежесть наливает грудь.

Митя один в поле, и рядом с ним только бодро ковыляющий дед Степа. Он жадно на ходу затягивается самокруткой и широко, тоже по-солдатски, отбрасывает руку.

Вот и перекресток, где расходятся дороги.

Остановились у низкого кустарника и закурили по последней. Митя высыпал остатки табака в широкий дедов кисет. С минуту постоял он молча, поглядел на лежащее в ложбине Сугорова и, вздохнув, привычным движением плеча поправил мешок. Потом широко обнал Степу и, не оглядываясь, зашагал по пригорку.

— Митя, Митя! — услышал он за собой и остановился. Дед догонял его. — Слушай, Митюха, — сказал он, старчески задыхаясь, — слушай, что я тебе скажу, — и тронул узловатым пальцем один из значков, сверкающих на Митиной гимнастерке. — Ты вот что, парень. Это самое сними потихонечку. Оставь только то, что тебе полагается, а лишнего не вешай. Думаешь, мы тут в лесу живем и не знаем, что к чему? Мы уж так, не хотели тебе праздника портить. Право, сними, по

дружбе тебе говорю. — И дед сморщил лицо в лукавой стариковской усмешке.

У Мити перехватило дыхание. Густая и жгучая краска залила его затылок. Ничего не отвечая, он потупился и прибавил шаг.

Шел он, с трудом преодолевая внезапную тяжесть, и уже не слышал больше свежего, пахнущего землей ветра, запаха размытых оврагов. Он нигде не присел отдохнуть, ни разу не свернул самокрутки и без всякого сожаления поглядывал на забрызганные грязью голенища.

Пришел в себя Корыхалов только в Тихвине, на вокзале, в суете и сутолоке посадки, да и то всю дорогу был неразговорчив и думал только о том, как бы поскорее добраться до места.

Осенью, когда уже похрустывали заморозки, а на деревенских березах жалко трепыхалась последняя пожухлая листва, деду Степе Телепанову прислели письмо.

Он не спеша развернул помятый треугольничек и хозяйственно разгладил его на колене. Потом надел на нос большие, перевязанные веревочкой очки и, тихо шевеля губами, начал вслух читать неожиданное послание:

— «Здравствуйте, дедушка Степан Матвеевич! Выпускаю вам письмо с фронта и желаю вам здоровья и благополучной жизни в героическом тылу. О себе скоро отпишу подробно мамаше, у которой узнаете про нашу военную жизнь, как мы бьем врага и получаем благодарность по радио, — может, слышали от 14 июля сего года, а также в августе, 21-го числа.

А пишу вам из госпиталя, где дела мои идут на поправку, так что скоро будем обратно в свою гвардейскую часть.

И между прочим хочу вам сказать, Степан Матвеевич, что получена на меня награда, медаль «За отвагу». А еще летом даден мне орден «Красная Звезда» — так что можно ехать домой в отпуск, теперь уже по-настоящему и как полагается после тяжелого ранения.

А чтобы не было вам сомнений, прикладываю нашу фронтовую газетку, где все подробно про меня прописано, как всё это дело и было.

А про мое ранение вы мамаше лучше не рассказывайте, как я сейчас уже на ногах и готов опять бить заклятого врага.

С гвардейским приветом известный вам Дмитрий Кoryxалов».

Дед Степа сложил письмо и торопливо стал натягивать полушубок, от волнения никак не попадая в рукава.

И он уже не удивлялся тому, что Митя ему первому сообщил эти новости.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПАКЕТ

Пчельников черпанул ложкой янтарно-золотистую дымящуюся жижу, блаженно зажмурил глаза и, потараканьи шевельнув выцветшими усами, сделал первый глоток. Четверо бойцов, сидевших вокруг котелка, смотрели на Пчельникова с нескрываемым любопытством. По лицу сержанта прошла легкая гримаса недоумения и недоверчивости. Задумавшись на минуту, он решительно сплюнул в сторону, вытер

колючие усы и, презрительно сощутив глаза, сказал Васькову, стараясь казаться спокойным:

— Эх, парень! Загубил ты и утятину, и картошку! Зря я дичь стрелял. Нечего тебе было лезть в повара, когда ты, можно сказать, ни уха ни рыла в этом не понимаешь.

Васьков, крепкий, кругоголовый парень, с острыми серыми глазками, беспокойно заерзал на месте. Его оттопыренные уши заметно покраснели.

— Ты думаешь, похлебку сварить дело простое? — неумолимо продолжал Пчельников. — Это тоже, брат, штука умственная! А ты бухнул соли: не считая, перцу навалил, картошку как следует не вымыл, птицы не ощипал как надо. Эх, даром я только тебе утку отдал! А ты хвалился: «Я, да я...»

Васьков поежился, но смолчал. Остальные надувались едва сдерживаемым смехом.

Пляшущее пламя костра клало по земле причудливые ломаные тени. Легкие искорки с треском гасли на лету. Темные верхушки сосен уходили куда-то в свежую высь.

Пчельников сморщился вдруг в лукавой и добродушной улыбке. Он хлопнул по плечу самозваного повара и, стукнув ложкой по котелку, добавил примирительно:

— Ну ладно, пошутил, и будет. Похлебка что надо! Навались, ребята, отдай концы!

Ложки дружно заработали, вылавливая жирные кусочки мяса и кружки картофеля. Легкий запах ужина приятно смешивался с духовитой смолистой сыростью, с горьким, щекочущим ноздри дымком. Котелок пустел на глазах. Пчельников первым положил ложку, откинулся на локоть и стал неторопливо разматывать кисет. Все уже знали, что из глубокого кармана сейчас появится обожженная самодельная трубка, а по-

сле двух-трех затяжек бывалый сержант начнет один из своих рассказов. Кое-кто тоже свернул сигарку. И один только смущенный Васьков сидел в той же позе. Он завязывал узелком травку за травкой и не мигая смотрел на огонь.

— Что ты, Васьков, надулся, как поп на ярмарке? Право же пошутил. Парень ты хоть куда. Все это знают. А коль кто еще не знает, так Расскажи, как ты к немцам «в гости» ходил.

К костру подошло еще несколько человек. Прислушались с интересом.

Васьков поежился, но общее внимание было ему приятно. Он лениво пошевелил прутиком угольки и сказал как бы нехотя:

— Да что там! Дело простое.

— Ну да, простое, — подзадорил Пчельников. — А медаль «За отвагу» даром тебе дали?

— Медаль за другое. Хотя, как сказать, может, и за это тоже. А верней всего — за пакет.

— За какой пакет?

— А известно за какой. За индивидуальный. Ну да чтобы не тянуть зря, расскажу, как дело было.

Все придвинулись ближе. Теперь около Васькова стояло уже человек пятнадцать.

— Так вот. Сидели мы, значит, на водной преграде, в обороне. Вот здесь мы, а там немцы. И между нами река. Нас им видно как на ладошке, а сами они, кроты в норах, даже огня, подлещы, не ведут, чтобы себя не обнаружить. Поди знай, что у них там делается. Зовет меня командир роты и говорит: «Надо, Васьков, «языка» брать. Как твои ребята?» — «Что ж, — отвечаю, — ребята всегда готовы. Мы это дело давно мозгуем». — «Ну, коли так — действуйте!» Я было повернулся по-строевому, а он меня останавливает: «Только, понимаешь, доставить в целости! Я ведь вас знаю. Мне

не одни бумаги, а живой человек нужен!» — «Постараемся!» — отвечаю. И вышел.

Собрал я своих ребят, и решили мы это дело начать не ночью, а так, в сумеречках, в необычное, значит, время. От наших окопов до речки — замечаете — метров сорок дуга. Густая такая трава, в самую пору косить. Вот скользнули мы туда потихоньку и ползем, как змеяки.

— По-пластунски! — заметил кто-то.

— Нехай по-пластунски. Только всё это с умом, один за другим, ветерок выжидая. Если что оттуда и видно, то ничего особенного, просто трава колыхнется. Добрались до лодок — они у нас в кустах еще раньше спрятаны были. Собрал я всех семерых — сапоги долой, шинеля тоже, гранаты за пояс. «Давай!» — говорю. Сдвинули лодки разом. И на весла. Гребем, а у всех одно в голове: только бы проскочить скорее. Река-то не маленькая. Смотрим, что за черт — тихо, как в погребке. Туман, правда, был, но легонький, и две наши лодчонки нельзя не заметить. Однако плывем. Вот уже середина. Вот и до берега недалеко. Вдруг толкнуло первую лодку, и все вперед носом клюнули. «Ребята! — кто-то говорит. — У них тут в воде колья с проволокой!» — «А если проволока, — отвечаю, — значит, мелко. Давай в воду!» Сунулись в воду. Холодная, черт, жжет аж до печенок. И в самом деле заграждение. Как быть? «Давайте, — тихонько кричу, — весла, вынимай скамейки». Поработали минуты три, и что-то вроде подводного моста получилось. Перелезли благополучно, автоматы, конечно, над головой. Вышли на берег — и опять тихо. Удивительно даже. Оставил я трех человек у лодок, а сам ползу с остальными на бугорок. И в самом деле — сидит к нам спиной немец, закуривает в ладошку. И автомат рядом. Только я из-

готовился его прикладом оглушить, Федотов как хряснет по черепу диском — тот и с ног долой.

«Эх, — шепчу я ему, — надо поаккуратней. Куда он нам, мертвяга, нужен!» — «Виноват, — отвечает Федотов, — поторопился маленько...» — «Ну, смотри, слушай мою команду. Я старший».

Поползли дальше. Видим ход сообщения. Тут я опять двоих оставил, а сам с Петровым гранаты в руки — и вниз. Бежим вперед, а всё пусто. Вот и поворот. За ним, надо полагать, блиндаж. Говорю Петрову: «Ты иди дальше, только осторожно, а я вёрхом войду». И вылез наружу, ползу рядом. Смотрим — и в самом деле землянка. Часовой не часовой, а какой-то фряц с автоматом. И что-то говорит по-немецки Петрову (в темноте-то сразу и не разберешь, свои или чужие!). Петров молчит, конечно. Немец опять что-то лопочет, смеется, идет ему навстречу. Петров как-размахнется — здоровый он у нас парень! — ишиб немца с ног. Рот ему рукой зажимает. Схватились они бороться. Пыхтят оба, что медведи, но тихо, только земля сыпется. Тут и я сверху на них камнем свалился. Вдвоем мы этого часового сразу окрутили, рот заткнули, по рукам и ногам перепеленали, что маленького. Он мычит что-то, глазами ворочает, а я его по башке раз-другой. Смотрю, успокоился немного. «Берись, — говорю Петрову, — времени у нас в самый об-рез». Поволокли мы немца. Здоровый детина попался, у нас просто ноги подгибаются. Чуть очнется, замычит, я его опять по макушке — напоминаю, значит, чтобы вел себя тихо.

Так добрались до выхода. «Принимай, — шепчу, — ребята!» Те подхватили, вытащили и нас и его наружу. А тут как на грех в окопах беготня, шум. И всё к нам ближе. Заняли мы вдвоем с Петровым оборону, а остальные нашего «языка» кубарем с откоса, как

бревню, к реке катят. Смотрим, уже к лодкам несут. А в это время из траншеи открыли огонь, кто и куда — в темноте не известно. «Строчи!» — шепчу я Петрову, а сам смотрю, как там на берегу. Вижу, наши пихают немца по доскам через проволоку, как мешок с овсом. Застрял он у них там, не ладится что-то, а на нас уже наседают. Бью я из автомата, оглянуться некогда. «Ну, как там?» — спрашиваю Петрова. «Пропихнули», — отвечает. «Ну, тогда порядок! Пора и нам!»

Скатились мы к реке и сразу в лодку. Я еще успел на прощанье две гранаты кинуть. Легли на весла, немец в ногах что червяк извивается, мне его даже успокаивать некогда. А пули кругом так воду и роют. У кормового весло вышибло, в лодку вода пошла. «Гребь, — кричу, — доской! Теперь близко!» А сам по вражьему берегу то одну очередь, то другую. То одну, то другую. Добрались до своих кустов, и все сразу в воду.

«„Языка“-то не утопите!» — кричу. Но ничего, выволокли благополучно, хотя он уж начал носом пузыри пускать. Хотел я подхватить его вместе с другими, а у меня вся левая рука в крови и как плетка повисла. В суматохе я этого и не заметил. Ползем, а добычу всюю перед собой катим. Опять меня что-то жигануло в ногу. Нет, врешь, думаю, до своих доберемся! А к нам уж ползут навстречу. И трех минут не прошло, подхватили всех и прямо в свой окоп.

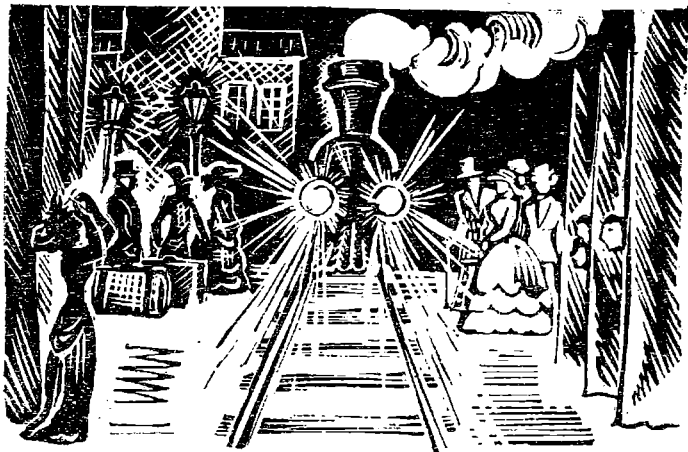
Прислонился я к стенке, хочу что-то сказать, и вдруг закружило, ноги подогнулись, и уж ничего больше не помню. Очнулся в землянке. Лежу весь в бинтах на парах, тут же мой немец на полу, как был связанный, а надо мной врач Степаненко. «Очнулся?» — спрашивает, и вижу: все кругом надо мной нагнулись. «Что же вы, товарищ Васьков, — это опять ко мне Степаненко, — что же вы крови столько потеряли? Надо

было руку чем-нибудь покрепче перехватить. Где у вас индивидуальный пакет был?» — «Извиняюсь, — отвечаю, — товарищ врач. Пакет — вот он!» И сам на немца показываю. А тот молчит, но уже от радости, видит, что жив остался. И даже улыбается, стерва. «А что касается бинта, — продолжаю я, — то мы с Петровым им «языка» спеленали. Другого материала под руками не нашлось. Вы уж извините, товарищ врач!»

Ребята заулыбались. И я улыбаюсь с ними. Ну, развязали немца, вынул я изо рта у него пилотку (мы его же пилоткой глотку ему затыкали), командир хлопает меня по плечу и говорит: «Спасибо, Васьков, что вот этот, — и кивнул на немца, — «индивидуальный пакет» в целости доставил!»

Сидящие вокруг костра засмеялись. И громче всех Пчельников. Он подошел к Васькову и протянул ему свой кисет с махоркой:

— На, угощайся! Отборная саратовская, Зря никому не даю!



„АННА КАРЕНИНА“

Мы только что растопили печку, хитроумно сделанную нами из старого бензобака. Ее мягкая теплота растекалась по телу приятной обессиливающей ленью. Не хотелось зажигать коптилку. В пляшущем багровом отсвете привычные бревна блиндажа то наплывали, то уходили в тень. Мы молчали — каждый на своем дощатом ложе.

— Послушайте, если вы еще не успели задремать, я расскажу вам забавную историю, — сказал вдруг мой сосед капитан С., в гражданском бытии архитектор одного из крупных волжских городов. В темноте мне не было видно его лица, но по голосу я понял, что он улыбается.

— Дело было, изволите ли видеть, во время моей последней командировки в Москву. Приехал я утром и едва достал номер в гостинице. Весь день ушел на дела, хлопоты, беготню по лестницам разных учреждений. Когда обедал, уже в сумерках, глаза у меня слипались от усталости. Никогда на фронте не выматывало так душу! Я, вероятно, охмелел от людской суеты, трамваев, афиш, приятельских разговоров. Или, может быть, настолько одичал и оброс мохом в своих Сивяшинских болотах, что обычный московский день оказался слишком большой нагрузкой для моих и без того расшатанных нервов.

Теперь в пору бы и в постель, на свежее простыни, на чистый пружинный матрац! Соблазнительно всё это после нашей лесной кочевой жизни! И я уже поднялся, чтобы идти в свой номер, как вспомнил, что утром предложили мне в одном месте билет на «Анну Каренину». Как пропустить такой случай! Пришлось спешно бриться, вынимать из чемодана новый китель, подшивать свежий воротничок.

Как я ни торопился, а чуть не опоздал к началу. Зал был уже полон, и я сел, должно быть, одним из последних.

Раздвинули занавес со знаменитой чайкой. Через несколько минут пропала, испарилась куда-то вся моя усталость. Эпизод сменялся эпизодом, двигались на сцене знакомые лица, говорились давно известные слова. Я смотрел не отрываясь, и у меня было такое чувство, что там, на сцене, живут близкие мне люди

и что я живу вместе с ними. Но странное дело! Я ни на минуту не забывал отмечать каждый удачный жест актера, каждую убедительную интонацию, каждую счастливую мизансцену. Я понимал, что всё это — театр, где жизнь только кажется правдоподобной.

А из тишины зрительного зала до меня доносились то чей-то легкий вздох, то приглушенное покашливание.

Со мною рядом сидела женщина в возрасте, который обычно называют «зрелым». Круглая, мягкая, вся в улыбающихся ямочках, одетая с той роскошью безвкусицы, какая свойственна не привыкшим к повседневному комфорту людям, она ни на минуту не оставалась спокойной. И в антрактах ее интересовало решительно всё — туалеты, разговоры соседей, люстры, все объявления на оборотной стороне афишки. Она искоса и весьма кокетливо поглядывала даже на меня. Она была одна, и никакого труда не составило бы заговорить с ней. Быть может, она даже ждала этого, втайне удивляясь моей нерешительности.

Когда гас свет, при каждом ее вздохе и легком повороте во мне росло и поднималось глухое раздражение. Решительно, она мешала мне слушать!

А дама, казалось, совершенно этого не замечала. Однажды, чуть-чуть наклонясь в мою сторону, она уронила с небрежным простодушием:

— А не правда ли, красивая была в то время форма у военных?

Я промолчал.

Некоторое время спустя до меня снова дошел ее, на этот раз уже взволнованный, шепот:

— Скажите, он не убьет ее?

— Кто?

— Да вот этот, сухопарый, с бакенбардами? Ну, муж одним словом?

— Нет, нет, успокойтесь!

— А... — протянула она разочарованно и умолкла. По крайней мере, на время.

Но к середине спектакля — я это почувствовал — с моей соседкой произошла какая-то перемена. Она уже не отрываясь глядела на сцену, и во всей ее позе была необычная напряженность.

Раз даже, во время последнего объяснения Анны с Вронским, она вскрикнула, чуть слышно впрочем, и тут же стыдливо прикрыла губы платочком. Но потом действие так захватило ее, что она перестала следить за собой, и от этого ее лицо, ничем не примечательное, будничное лицо, стало даже миловидным. Что-то от давней свежести проступило в нем. Теперь я легко мог бы представить ее девятнадцатилетнюю юность где-нибудь в Кинешме или другом маленьком городке. Она по-прежнему взглядывала на меня, но и тени досадного кокетства не было в ее удивленно расширенных и, как я только теперь заметил, очень красивых, по-русски серых глазах.

И вот последняя сцена. Во тьме полустанка, на железнодорожных путях, мечется обезумевшая от отчаяния Анна. Все дороги сошлись для нее в этом грохоте приближающегося поезда, в мутных, неудержимо растущих огнях паровоза.

Вы знаете, как мастерски сделано во МХАТе это место. Поезд идет прямо на зрителя, его огни ширятся у всех на глазах в ужасном, раздирающем сердце гуле и лязге.

Моя соседка откинулась на спинку кресла, закрыла глаза и судорожным движением схватила меня за рукав. Металлический грохот наполнил весь зрительный зал. Казалось, еще минута — и он расколется здание. И уже метнулась ему навстречу, на мгновение озаренная отблеском фонарей, черная фигура Анны.

Но тут произошло то, что редко можно увидеть в таком строгом театре, как МХАТ. По оплошности ли механика или по какой-либо другой причине вдруг замерли в мертвом оцепенении огни паровоза, потеряв в ту же секунду жизнь и убедительность. Они не дошли до назначенного места.

Тело Анны лежало на их пути спокойно, в полной безопасности.

По залу прошел какой-то гул, нервное напряжение разрядилось глухим покашливанием, кое-где даже рассмеялись. За кулисами слышался непривычный шум, чувствовалась растерянность. Торопливо задерживали занавес.

При резко вспыхнувшем свете публика, словно недовольная и чем-то разочарованная, суетливо и грубовато теснилась к выходу. Я взглянул на свою соседку. В глазах ее стояли крупные слезы. Простоватое круглое лицо сияло невыразимым блаженством.

— Как хорошо! — сказала она. — Машинист остановил вовремя. Слава богу! А у меня уж сердце готово было разорваться...

Мне стало стыдно своей недавней неприязни. Я поклонился и молча предложил ей руку.



ОДНА ШЕСТНАДЦАТАЯ

В землянке негде было повернуться. Вокруг дощатого столика, покрытого старательно приколотой кнопками бумагой, сидели, что называется, «в притирку». Чтобы передать соседу банку с консервами или очередную стопку, приходилось проделывать довольно сложную систему движений. Шея болела от невозможности выпрямиться как следует, ноги затекали, спина всё время чувствовала шершавую, а порой и колючую

кору деревянной стенки. Огоньки трех коптилок моментально вздрагивали от взрывов дружного хохота.

После тяжелых круглосуточных боев, увенчавшихся заслуженными удачами, батарею вывели на отдых, и мы могли позволить себе эту маленькую роскошь — отпраздновать награждение многих своих товарищей, а заодно и присвоение нашему всеми любимому командиру очередного воинского звания.

Тосты следовали один за другим, наконец дошла очередь до плотного пожилого майора, нашего гостя из саперного батальона. Он долго отнекивался, ссылаясь на свое неумение говорить. Но его всё же заставили встать.

Торжественно приподняв жестяную кружку, майор выпил ее не торопясь и провел ребром ладони по уже сидящим усам.

— Я тут среди вас самый старший... По возрасту, конечно, — добавил он, улыбаясь, — и потому мне позволительно вместо очередного приветствия рассказать вам, друзья, небольшую историю. Вот выпили мы сейчас за Барсукова, за его новенькую майорскую звездочку, и, быть может, мне одному подумалось, как сложно и тоскливо бывало добираться до нее в старое время...

Сейчас — дело другое: заслужил и, пожалуйста, читай свою фамилию в приказе. Твое, честно заработанное перед Родиной, от тебя никуда не уйдет. А прежде-то, братцы мои, не всегда так гладко сходились концы с концами. И сидит, бывало, достойный до скончания дней своих в чижиговом звании, а кто полочей, глядишь, давно уже у финиша — ну, конечно, если ему при этом повезло.

То, что хочу я вам рассказать, относится ко временам моей безусой юности, к первой империалистической войне. Случай вполне правдивый, так оно и было

на самом деле. Командный состав тогда чуть не наполовину пополнялся прежними службистами, крепко и слепо державшимися за свои административные привычки. И то, что у нас называется сейчас «выдвижением достойных», принимало тогда своеобразные формы.

Так вот... В девятьсот шестнадцатом году служил я по морскому ведомству, в учебном минном дивизионе. Мы стояли на одном из островков Невской дельты и занимались нудным и рискованным делом: вылавливали мины, щедро разбросанные немцами в Финском заливе. С утра выходили в море на пузатых портовых буксирах, спешно преобразованных в тральщики, бороздили по всем направлениям мыльную балтийскую воду и на закате возвращались в город, усталые, голодные, прокопченные тяжелым угольным дымом. Мы были молоды, беснечны, и пачка сухого табаку да хорошая книга заменяли нам все радости жизни.

Мои сослуживцами были студенты-политехники и химики, призванные в армию и сохранившие под серой шинелью навыки гражданского существования. В дружной компании мы читали любимых поэтов, вместе в свободное время ходили в театр, спорили о литературе. И с нетерпением ждали всю неделю воскресной прогулки на Острова с милой и столь же беспечной подружкой, у которой непременно была наивная бархатка на тоненькой свежей шее. Кормились мы тогда скудно, но не единый хлеб был пищей нашей души. Повторяю, были мы молоды, и весь мир был молод вместе с нами.

Со мною вместе служил в то время Александр Иванович Роднонов — существо маленькое, суетливое, с бабьим лицом и сладковатой улыбкой. Был он когда-то поваром в хорошем ресторане и, несмотря на

офицерскую шинель, казался насквозь пропитанным пряными и душными запахами кухни. С пухлых его губок то и дело слетали ласковые, закругленные словечки, которым привычная ярославская скороговорка придавала особую выразительность. Всем он стремился угодить и из каждого извлекал хотя бы самую крошечную пользу. Работник он был бестолковый, но суетился за десятерых. И странно: уж, кажется, из кожи лез человек, а не слышал ни единого слова поощрения, не видел ни единой, хотя бы снисходительной, улыбки.

Свой маленький чин носил Родиоша с горьким смущением. В глубине души он считал себя способным занять любую ответственную должность, ибо непогрешимо верил в свою природную смекалку и изворотливость. Но роковое невезение всегда становилось преградой на его пути. К этому невезению относил он и то, что не умел толком написать самый простой рапорт и вообще отличался крайним невежеством.

День и ночь мечтал он о следующем чине и не любил, когда в дружеской компании ему напоминали о прежней профессии, — хотя поваром, вероятно, был превосходным. Неизвестно, сколько времени пришлось бы Родиоше пребывать в ничтожестве, если б не произошло пустяковое, но важное для него событие. Мы узнали, что нашу часть собирается посетить высокое начальство.

С утра началась приборка, стирка, всяческая суетня. Чистили склады и мастерские, на широком булыжном дворе палили огромные костры из соломы и всякого мусора. Мыли казармы и лестницы. Наш старший офицер, сутулый, горбоносый Гриневич, в черной морской накидке, делавшей его похожим на ворона, меланхолически мерил сухими ногами казарменный двор, заглядывая в самые темные его уголки. Александр Иванович, забегая то справа, то слева, почтительно загля-

дывал ему в глаза. Суетливая озабоченность собрала в складки его расплывающееся лицо, торопливый говорок перебирал всю гамму угодливых интонаций.

Это было время усиленных ревизий и проверок, и наш Гриневич, старый, испытанный моряк, как у себя дома расхаживающий по минным полям, казался совершенно беспомощным перед любым ревизором. Один вид разграфленной ведомости приводил его в ужас. При слове «отчетность» он вздрагивал и внутренне ежился.

Сейчас, в ожидании высоких гостей, он был мрачен, как всегда бывает мрачен человек, административная совесть которого не может считаться совершенно спокойной.

Время подходило к назначенному сроку. Дежурный возвестил приближение начальственного автомобиля. Гриневич быстро окинул взглядом выстроившихся минеров искомандовал: «Смирно!» Начальство неторопливо сошло с автомобиля и, отковыряв со снисходительной небрежностью, пошло по рядам. За ним следовал сухопарый адъютант.

Смотр и опрос претензий прошли благополучно. Проследовали в классы и мастерские. Всё здесь сияло безукоризненной чистотой, какую и на суше умеют сохранять моряки. Строгое, как бы каменное лицо важного посетителя начало оттаивать. Даже подобие слабой улыбки скользнуло по нему раз или два. Заглянули и на кухню. Перепуганный повар в подозрительно чистом и свежем колпаке подал пробу. Борщ оказался гостям достаточно вкусным. У Гриневича немного отлегло от сердца. А после того как ревизор досадливо отмахнулся от поднесенных ему конторских книг, наш командир уже окончательно приободрился. Всё шло как нельзя лучше. Оставалось осмотреть небольшой склад, где помещались выловленные

нами трофеи — мины новейших образцов, своего рода музей, составлявший особую гордость Гриневича. И действительно, здесь было чему подивиться. Похожие на шарообразных рыб и морских глубоководных чудовищ, в тусклых, пропахших нефтью и краской сумерках тянулись выровненные рядами медные корпуса, минрепы, смотанные в катушку стальные тросы.

Ревизоры с величайшим интересом переходили от одного предмета к другому. Высокое начальство с самым понимающим видом разглядывало то ту, то другую деталь, требуя подробных объяснений. Мы, младшие офицеры, отвечали точно и стремительно, щеголяя отличным знанием своего хозяйства. Лица экзаменуемых выражали полное удовольствие.

Так дошли до последнего образца, два дня тому назад поступившего на склад. Это была особо замысловатая мина, с величайшим трудом и даже опасностью для жизни разоруженная нашими минерами. Никто не изучил в точности ее загадочного и неустойчивого характера. Она возбудила особый интерес. Вопросы сыпались один за другим. Но ответы, сбивчивые и нерешительные, ничуть не разъясняли дела.

Недовольная складка легла на лоб высокого начальства. В голосе уже заметно стали проступать нотки раздражения. Толстое лицо внезапно покраснело, как только что натертый медный палубный колокол. Фразы оканчивались визгливыми вопросительными знаками:

— А это что? А это? Это?

Мы молчали.

Упрямый начальственный палец неумолимо тыкал в какую-то гайку и настойчиво требовал ответа:

— Диаметр? Какой диаметр, спрашиваю!

Мы всё так же продолжали молчать. Гриневич побледнел и тоскливо переминался с ноги на ногу.

Было так тихо, точно все мы находились глубоко на морском дне. Тусклое освещение сарая подчеркивало это сходство. Кто знает, чем бы кончилась эта мучительная тишина, похожая на ожидание неминуемого и замедленного взрыва, если бы внезапно из наших безмолвных рядов не выскочила юркая и как-то по-особенному лихая фигурка Родиоши. Мягким шариком выкатился он на середину, прямо под нос высокому начальству, и, ловко шелкнув каблуками, бросил резко, отчетливо и даже весело:

— Одна шестнадцатая, ваше превосходительство!

Мы переглянулись в тревожном недоумении. Но начальство удовлетворенно склонило тяжелую мясистую голову. Легкий вздох облегчения пробежал по нашим рядам. Гриневич вытер платком вспотевший лоб.

А высокий ревизор, благосклонно кивнув Родиоше, тотчас же скромно отступившему на два шага, обернул к нам красное, пылающее, как закат, лицо.

— Стыдно, господа офицеры! Испытанные минеры, морские волки, так сказать, не потрудились разобраться в механизме вражеской мины, а вот молодой человек уже изучил его до тонкостей. Если вы будете и впредь...

И пошло, и пошло... Минут десять отчитывал нас строго рокошущий голос, то снижаясь до грозного шепота, то вновь подымаясь до визгливого крика. Порою казалось, что огромный шмель залетел ненароком в пыльную тишину сарая и ожесточенно бьется в тусклое оконное стекло.

Мы слушали терпеливо, но всем уже было ясно, что гроза миновала и что надо только дать возможность высокому гостю высказаться до конца.

Усаживаясь в автомобиль, отъезжающий спросил у Гриневича:

— Как фамилия этого способного молодого человека?

А через неделю мы узнали из приказа по дивизиону о производстве Родиоша в следующий чин...

Вот и конец этой небольшой истории. Впрочем, если хотите, она имеет и некоторое продолжение.

Лет двадцать спустя, уже в мирные дни, ожидал я как-то пригородного поезда на Витебском вокзале, коротая время в станционном буфете. В приоткрытой двери на кухню мелькнула чем-то знакомая фигура. Когда я увидел круглое, всё в улыбающихся ямочках лицо, сомнений больше не было.

— Александр Иванович, ты ли это?

Мы чуть не бросились друг другу в объятия. Засуетившийся Родиоша потащил меня в какую-то комнатуху, прилегающую к кухне, и через минуту передо мной явились превосходные образцы его кулинарного искусства. Выпили и по маленькому стаканчику необычайно душистой густо-тяжелой наливки.

— Из нежинских вишен, — гордо сказал Родиоша, наливая по второй. — Знакомый кондуктор привез. Ну я ее переквалифицировал, и вышло подходяще.

Мы беседовали о том, о сем, вспоминали давние времена. Оказалось, Родиоша был в Красной Армии, сравнительно недавно вышел с военной службы и теперь числился командиром запаса.

— Подучился немного и достиг! — заметил он без самодовольства. — Продолжал бы и дальше, да лета уже вышли. Впрочем, если надо будет, еще повоюем!

Когда расставались, я не утерпел и спросил его:

— Скажи мне, Александр Иванович, разреши одну загадку...

Александр Иванович усмехнулся и, словно угадывая мои мысли, протянул мне малепький серебряный

брелок, сверкнувший на его часовой цепочке. В аккуратном овале из лавровых веточек стояла дата, а чуть пониже крупными буквами было написано: «Одна шестнадцатая».

— Помнишь?

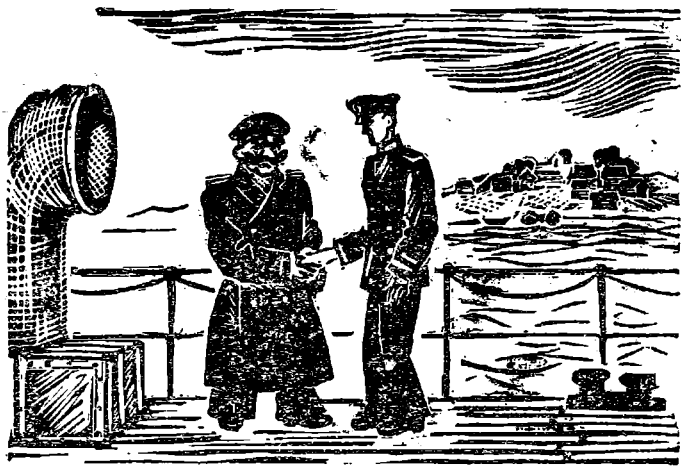
— Ну как не помнить! Ты тогда всех нас выручил. Но все-таки, что же это значит—«одна шестнадцатая»?

— А черт ее знает! Я и сам топтался с ноги на ногу. И вдруг меня словно осенило. Ну, думаю, была не была!

Он прищелкнул языком и, чуть прищурив глаза, добавил лукаво:

— Игра судьбы, милый мой!

Мы оба рассмеялись и расстались приятелями.



БУКАН

Рассказ старого моряка

Старший механик Иван Матвеевич откинулся поглубже в кресло и расстегнул верхнюю пуговицу кителя. Это всегда было предвестием какого-нибудь любопытного рассказа о временах, уже давно минувших. Все пододвинулись ближе.

В кают-компании сразу стало тихо — только дребезжал чуть-чуть стакан на блюдечке да скрипнула раза два-три дверца буфета.

Эсминец возвращался на базу после трудного боевого рейса в Баренцевом море, и у всех было приподнятое и радостное настроение, которое всегда бывает после усталости и тревоги многих морских дней в предвкушении хотя и недолгого, но мирного отдыха. В такие минуты рассказы старшего механика, любителя вспомнить что-либо из своей многолетней службы на старом флоте, всегда находили слушателей. Да и сам механик, обычно молчаливый и по-деловому сосредоточенный, не отказывался провести лишний часок среди молодежи за «неслужебной», как он ее называл, беседой.

— Ну, если уж вспоминать, — начал он, выждав недолгую паузу и сразу поймав тот тон, который приличествует неторопливому, обстоятельному повествованию, — если уж вспоминать, расскажу вам одну весьма давнюю историю, которая, быть может, и сейчас еще ходит среди старожиллов нашего флота.

Было это дело в одиннадцатом году, во времена, как видите, доисторические. Шел я свежееиспеченным мичманом в свое первое дальнее плавание на канонерской лодке, имя которой вам ничего не скажет, а для меня памятно на всю жизнь.

Было мне тогда лет девятнадцать, и осталась у меня в Кронштадте мамаша, о которой я скучал, конечно, как и вообще о нашем домишке на одной из окраинных улиц.

Легко ли болтаться на тихоокеанской волне и швырять по безымянным бухтам Охотского моря в погоне за японскими контрабандистами, дрожать, как собака, в колючем тумане, питаться осточертевшей рыбой и думать о том, что тысячи верст отделяют тебя от родины, куда бог весть когда еще вернешься? Жизнь, прямо сказать, нудная, как ноябрьское небо. Всё одни и те же лица и то же дело. Не только о Владивостоке,

но и о самом глухом рыбацьем поселке мечтаешь, как о светлом празднике. Книги перечитаны не один раз. Разговоры в кают-компании вертятся в узком, давно уже всем надоевшем кругу. Только и развлечения, что резкая перемена погоды. Новости с родины доходили с бо-ольшим опозданием.

Капитаном был у нас Власкевич, сухой и мрачный поляк, всегда подтянутый, холодно-вежливый, требовательный в мелочах, злопамятный и жестокий.

Старший офицер Степан Иванович Лобанов, на котором и держался весь обычный распорядок, казался человеком иного склада. Строгий, придирчивый, он всюду совал свой нос и за всем доглядывал, но все мы знали, что частые вспышки его гнева, когда он за крепким словом в карман не лазил, обычно сменялись полным штилем. Он не любил вспоминать прошлое и первый был готов протянуть руку примирения. Но попасться ему в штормовую минуту всё же было страшновато.

Вид у Лобанова был несколько комический. Низенький и плотный, с заметным брюшком, без единого волоска на тыквообразном черепе, но с длинными пушистыми усами, он походил на жука, и мы его обычно в своей мичманской компании звали Буканом. Старый закоренелый холостяк, больше всего на свете любил он свой корабль, на котором служил бессменно.

И только две слабые струнки наблюдались у этого непогрешимого человека: любовь к слегка разбавленному кипяточком коньяку, который обязательно подавался в стакане с ложечкой и куском сахара, а потому в обиходе назывался «крепким чаем», да пространные рассуждения о морской дисциплине, без которой, по его мнению, и свет не мог стоять.

В служебном отношении я был подчинен ему непосредственно и, хотя обязанностей у меня было немно-

го — трюмное хозяйство да несколько цистерн для питьевой воды, — дрожал за каждую мелочь, боясь его довольно крутого нрава.

Во время последнего перехода, длительного и неприятного из-за штормовой погоды, мы повредили одну из лопастей винта. Были поломки и в такелаже. Всё это вынуждало нас зайти в ближайший порт скалистого, неприютного в те времена острова Сахалин. Там в одной из тихих бухт отдали мы якорь и приступили к починке, всё время качаясь на нудной мертвой зыби.

Невеселое это было в те времена место, особенно в хмурую осеннюю погоду!

Вот стоим мы день, другой. На борту кипит работа, всё загромождено лесами и подпорками. Обычный строй жизни нарушен, одна муравьиная суeta. Для скорости дела прислали нам с берега в помощь плотникам десятка полтора каторжан. Люди все утрюмые, на слово неохочие. И среди них какой-то кавказец, парень еще молодой и на других непохожий. У него и улыбка, и острое словцо, и какая-то особая ловкость и лихость в рабстве. Наши матросы живо с ним разговорились и, невзирая на охрану, то хлеба ему сунут, то махоркой угостят, то просто подойдут, хлопнут по плечу: не унывай, мол, парень, — и он сразу все свои белые зубы покажет в такой ослепительной улыбке, что просто не верится, как это он в своей проклятой норе еще смеяться не разучился.

А сидел он у царя на даровых хлебах за то, что на чьей-то свадьбе в родном ауле поцарапал кинжалом местного пристава. Одним словом, пострадал за любовь и чуть ли не за политику и свободолюбие, а к этому у нас на флоте относились с особой жалостью. Матросам очень нравился его веселый, независимый нрав. «Гордый парень!» — говорили они с одобрением и

называли его Миша, по-своему переделав трудное кавказское имя.

Работы продолжались с неделю, а может, и больше. Наконец отдан был приказ выйти в море. Очистили палубы, вымыли и оттерли всё до блеска. Отгнали последний баркас с удалявшимися каторжанами. На корме стоял Миша и весело махал нам рукой. Ему отвечали с борта.

Часа за два до подъема якоря на бухту упал туман — такой густоты, что едва были различимы ближайшие скалы. Никто, конечно, не думал, что мы снимемся в назначенный срок. Но капитан Власкевич не пожелал отменить своего приказания.

Я только что сменился с вахты, промокший до костей, и, едва выпив стакан чаю, поспешно юркнул под одеяло. Уже засыпая, я уловил привычным ухом легкое вздрагивание корабля и понял, что мы все-таки рискнули выйти в море.

Спал я положенное время крепким сном безмятежной юности и открыл глаза только часов в девять утра. По легкому золотистому поблескиванию в стекле иллюминатора было ясно, что погода разгулялась и что наш маневр прошел вполне благополучно. Я оделся не торопясь и, с удовольствием пожимаясь от бодрящего утреннего холода, вышел на палубу. Море, совершенно спокойное, отливало легким металлическим блеском. Едва различимый берег лежал позади мутноватой дымной полоской. Свежий ветерок, посвистывая вдоль борта, трепал ленточки матросских бескозырок.

У трапа меня остановил Демушкин, боцман трюмного отделения.

— Ваше благородие, — сказал он тихо и с необычной осторожностью. — Разрешите вам два слова сказать.

В самом тоне его голоса было что-то очень далекое от привычных служебных интонаций. Он быстро огля-

нулся и, убедившись, что кругом никого нет, прошептал над самым моим ухом:

— Мишка-то, помните, тот, каторжный, у нас сейчас на борту! — И, не давая мне опомниться, начал говорить быстро, волнуясь: — Как это, значит, вышли мы в тумане, стою я, значит, и только собрался трубочку раздуть — гляжу, на волнах голова. Плышет человек, а откуда взялся, непонятно. Вижу — Мишка! И мне рукою знак подает. Что тут будешь делать? Я ему сейчас конец с борта. И, хорошо, что туман кругом, — выволлок незаметно. Стоит он, вода с него ручьями, на меня молча смотрит. Хотел я ему попервоначалу в ухо, да пожалел. Тяну скорее в трюм. Слава богу, по дороге никого не было. Сидит он там у меня за брезентом, отошел немного. Как же теперь быть, ваше благородие?

— Как быть? Да ты знаешь, что ты сделал? Да за такое укрывательство...

— Как не знать... Да парня уж больно жалко... И ничего не просит, только смотрит жалобно.

Мы замолчали. Действительно, было над чем задуматься! Беглый каторжник на военном корабле! Этого и вслух не произнесешь. Демушкин первый прервал тягостное молчание:

— А вы вот что, ваше благородие. Кроме нас двоих, никто об этом ничего не знает. Вы уж помолчите, будто и слухом ничего не слышали. А мы через двое суток будем у своего берега. Там я его и спущу легонечко. Комар носу не подточит.

Я медленно сдвинул на лоб фуражку. Мне стало вдруг жарко здесь, на холодном ветру. Ничего не ответив, я пошел от боцмана. И почувствовал, что он глядит мне вслед с тоскливой тревогой.

Я шел с единственной целью — забраться куда-нибудь подальше и обдумать сложившееся положение.

Слов нет, и мне было жаль Мишу. Казалось просто чудовищным вырвать у человека последнюю надежду. Но как посмотрит начальство? И тут перед моими глазами возникли суровые брови старшего офицера, которого я в эту минуту даже мысленно не осмелился назвать Буканом. А уж о командире корабля и говорить нечего. Совершенно ясно, как он отнесется к этому делу.

Продумал я всю вторую половину дня. Голова у меня трещала от наплыва самых различных мыслей, и мне стоило нечеловеческих усилий держать себя в руках среди матросов и в кают-компании. Я разговаривал и шутил, как обычно, но на душе у меня кошки скребли.

К вечеру я стал несколько спокойнее. В сущности, в плане Демущкина не было ничего невыполнимого — при известной ловкости и счастливом стечении обстоятельств, конечно. Но существовала одна грозная опасность, которую следовало преодолеть во что бы то ни стало.

По твердо установившемуся обычаю старший офицер каждое утро заходил во все помещения корабля и подвергал их тщательному осмотру. Заглянет он, несомненно, и в трюм. Как тут быть? Что может скрыться от такого опытного взгляда? А кроме того, мог прийти и врач.

Долго я не мог заснуть в эту ночь, ворочаясь с боку на бок. Утром рано меня разбудил вестовой:

— Ваше благородие, пожалуйста к его высокоблагородию капитану второго ранга Лобопову.

Привычный к таким вызовам, я не удивился, но всё же холодная струйка пробежала у меня по спине. «Что, если...» Но размышлять было некогда. Я торопливо оделся и через две-три минуты уже стучал в дверь каюты старшего офицера.

Букан, только что вернувшийся с мостика и еще не снявший шинель, жадно допивал стакан своего «крепкого чая». Он обернулся ко мне и сделал знак, чтобы я подошел ближе. Отрывисто и, как всегда, сердито он задал мне несколько вопросов, относящихся к моим прямым служебным обязанностям. У меня отлегло от сердца. Разговор, видимо, сейчас кончится, и можно будет идти с миром.

Но старший офицер неторопливо набивал трубку и не желал меня отпускать. Мне опять стало не по себе.

— Да, мичман, — пробурчал он наконец. — Плохо вы смотрите за чистотой вверенных вам служебных помещений. Что это у вас валяется на трапе? — И брезгливо кончиком трубки пододвинул ко мне по столу какой-то небольшой предмет.

Я обомлел. Это была пуговица, грубая деревянная пуговица явно не военного образца. Сердце у меня похолодело. «Неужели он узнал?..»

— Ну, мичман, говорите, как было!.. — сказал Букан серьезно и просто.

Прошла длинная, мучительная для меня пауза.

Отступить было некуда, и, волнуясь, не находя сразу нужных слов, я рассказал ему всё...

Букан выслушал меня угрюмо, не перебивая. Затем потер переносицу, вытряхнул табак из трубки и вновь повернул ко мне багровое от натуги лицо. «Плохо дело», — успел подумать я, и сердце во мне упало.

— Да вы знаете, милостивый государь, чем всё это пахнет? Вы отдаете себе отчет? Голова-то у вас на плечах или еще где?

Я молчал. Долго отчитывал он меня, фыркал, шевелил огромными усами. Я твердо продолжал молчать.

— Ну вот, — добавил наконец Букан, сердито ломая спичку за спичкой. — Чтоб ваш Демушкин дедал

этого стервеца куда знает. Чтобы здесь и духом его не пахло! Понятно?

— Так точно, господин капитан второго ранга!

Что я мог ему ответить? Ведь должен он понимать, что не можем мы с бодманом выбросить человека в открытом море...

Я повернулся с самым смутным, тяжелым чувством. Но на первых же ступеньках трапа меня заставил остановиться всё тот же сердито рокошующий голос:

— Мичман! Голова у вас забита не тем, чем надо. Делать вам больше нечего! А по службе-то всё у вас в порядке? Сколько у вас цистерн в трюме?

— Шесть, господин капитан второго ранга.

— Как! — заорал вдруг, весь краснея, Букан. — Извольте мне не врать! Своего хозяйства не знаете. В трех соснах заблудились. Пять цистерн с нитьевой водой, поняли? Шестая не в исправности. Благоволите выпустить воду и приступить к текущему ремонту.

Я оторопел совершенно. Уж кому-кому, а мне прекрасно было известно, что все мои шесть цистерн находились в безукоризненном состоянии. Что он, с ума сошел, что ли?

Но спорить с начальством не приходится. Я молча приложил руку к козырьку и вышел.

Стоит ли говорить, что эту ночь я провел без сна. Утром, придя в трюм, я не смел поднять глаз на Демущкина. Но потом не выдержал и передал ему весь неутешительный ночной разговор со старшим офицером.

Демущкин сдернул бескозырку и неторопливо перекрестился.

— Ты что? — удивился я.

Он молча поманил меня к крайней цистерне и приподнял крышку. Я увидел на дне скорчившегося в три погибели Мишу. Никогда не забуду его глаз.

— Вот и я тоже... умом прикинул... — прошептал торжественным шепотом за моей спиной боцман.

Не успел я обернуться к нему, как по металлическим ступенькам трапа быстро и отчетливо просынались знакомые шаги. Мы очутились нос к носу со старшим офицером и судовым врачом. За ними следовал вестовой.

Букан привычным маршрутом обошел всё мое помещение, недовольно фыркнул в сторону Демущкина, указал ему на какую-то недостаточно чисто оттертую деталь. Затем, повернувшись ко мне, спросил отчетливо и сухо:

— Сколько у вас цистерн, мичман?

— Пять! — ответил я без запинки. — Шестая на ремонте.

Врач произвел пробу из всех пяти цистерн.

Букан кивнул удовлетворенно и направился к выходу, увлекая за собой всю свиту. Мы с Демущкиным смотрели ему вслед с непередаваемым чувством.

Осталась последняя ночь. Ранним утром мы должны были подойти к родным берегам. А там... там началось самое страшное. Нервы мои были напряжены до предела.

Я забылся сном только на исходе ночи, да и то на самое короткое время. Когда я открыл глаза, было еще темно. И меня удивило то, что мы уже стояли на рейде. Я быстро вскочил и, не теряя ни минуты, поднялся наверх.

У самого трапа меня поджидал Демущкин. По его расплывающемуся в улыбке лицу мне стало понятно, что все наши страхи кончены.

— Спустил еще в потемочках, — доложил он. — Всё в аккурате, ваше благородие!

И будь это не на виду у всех, я крепко пожал бы его широкую грубоватую ладонь.

Несколькими минутами позже у капитанской рубки мне повстречался Букан. Он неторопливо шел прямо на меня. Пушистые усы, примятые береговым ветром, ложились ему на щеки.

— Ну как, мичман, — спросил он хриплым, лающим голосом, впрочем, чуть тише обычного, — сколько у вас цистерн в трюме?

— Пять, господин капитан второго ранга! — ответил я с безотчетной привычной лихостью, думая о своем.

Букан пристально взгляделся в мое лицо и сразу же расцвел неожиданной мохнатой улыбкой.

— Эх, опять вы путаете, мичман. Нехорошо! Ей-богу, нехорошо. Шесть, прошу запомнить. Шестую починили на рейде своими средствами. Объявляю вам благодарность за своевременно принятые меры. Ну, как вы спали сегодня? — добавил он, помолчав с минуту. — Вид у вас неважный. Да и меня ломал ревматизм, будь ему неладно. Идите-ка, отдохните часок-другой перед вахтой... Да, если будете писать в Кронштадт, передайте мое почтение вашей матушке, хотя я и не имею чести быть с нею знакомым.

И милостиво протянул мне свою волосатую тяжелую руку.



ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ

Рассказ старого ленинградца

За последние два десятилетия каждый, кто входит в рукописное отделение Публичной библиотеки, неизменно видел за маленьким столиком у двери как бы обросшего мхом старика. Его очень живые и внимательные глаза были скрыты под густым колючим кустарником сердито насушенных бровей. Он терпеливо выслушивал просьбы посетителей и неторопливо направлялся к нужной полке. Ни одно, самое необычное

требование не могло смутить его спокойствия. Тысячи рукописей были аккуратно разложены в его невероятной памяти. Он знал, как никто, богатейшие рукописные фонды. С отдаленных исторических времен занимал он свое место, пережил не одну смену директоров и читательских поколений, а сам оставался всё таким же молчаливым, суховатым хранителем пожелтевших листов и фолиантов, исписанных людьми, которых уже давно нет на свете.

В страшную зиму блокады сорок первого — сорок второго года, когда ученые сидели за столиками в шубах и шапках, согревая собственным дыханием коченеющие пальцы, старик всё так же дежурил на своем месте и по первому требованию отправлялся в самые темные и холодные закоулки подвалов в поисках нужного материала. Вопросом чести считал он возможность помочь научной и литературной работе, ни на минуту не угасавшей в городе, лишенном света, тепла, воды, содрогающемся от взрывов тяжелых вражеских снарядов.

В положенный час обеда он вынимал из кармана старенького пальто аккуратно завернутый в белую бумагу кусочек хлеба и с расстановкой, по-птичьи, клевал его до последней крошки. Это было его едою, едва ли не единственной за весь день. Потом он, вздохнув, снова наклонялся над своими папками и бумагами.

И вот однажды случилось необычное. Старик стоял бледный, с бессильно упавшими руками, и непонимающим взглядом скользил по давно привычным стенам. Губы его шевелились беззвучно, словно он хотел и не мог выговорить нужного слова.

— Что с вами, Иван Афанасьевич? — спросили сослуживцы.

— Я... Я... У меня пропала хлебная карточка!

Тому, кто не был ленинградцем блокадных зим, никогда не понять, сколько отчаяния могли заключать в себе эти слова. Всякое утешение тут бессильно. Хлебная карточка... В ней единственной теплится жизнь, надежда.

Все стояли молча, потрясенные, бессильные что-либо сделать.

Старик повернулся и медленно побрел к выходу, шлепая тяжелыми калошами.

На следующий день он не появился на своем обычном месте. Не было его и на другое утро. Послали к нему домой и узнали, что лежит он в своей постели и упорно отказывается отвечать на вопросы.

Это так потрясло всех, знавших его аккуратность и обходительность, что решено было совершить необычайное. Поехали в Смольный, к высшей продовольственной власти, рассказали обо всем случившемся.

Кто не знал старого хранителя редких книг! Кто не вспомнил при его имени своего студенческого отшельничества в узеньких, сверху донизу забитых книгами переулках Публичной библиотеки! Кто не увидел, хотя бы на миг, сухонького старика, согнувшего спину над маленьким столиком у входа!

И ему была выдана новая хлебная карточка.

Торжественно привезли ее на квартиру Ивана Афанасьевича с первой порцией полученного на нее хлеба.

Но он не поверил своему счастью. Он только повторил:

— Вы шутите. Вы хотите обмануть меня и привезли мне то, в чем отказали сами себе. Я не возьму этого хлеба. Оставьте меня. Я боюсь только одного: умрешь, а у вас там без меня некому будет разобраться в старых рукописях. Да и кто станет заниматься ими в такое трудное время?

Но его всё же убедили взять хлеб.

Остальное рассказала несколько дней спустя квартирная соседка Ивана Афанасьевича.

Старик долго не мог понять, что у него в руках снова жизнь и надежда. Каждые пять минут вынимал он из-под подушки розоватый разграфленный листок и щупал его узловатыми, привыкшими к пыльной бумаге пальцами.

В комнате было холодно и темно. В окно, выбитое близким взрывом и кое-как заткнутое дряхлой подушкой, тянуло острой ноябрьской стужей. Старик зажег коптилку и поднес карточку к уже плохо видящим глазам. Ему захотелось разобрать подпись. Но он слишком низко наклонился над сиротливо дрожащим пламенем. И не заметил, как вспыхнул и весело побежал по бумаге синеватый огонек, обжегший ему пальцы.

Глаза Ивана Афанасьевича расширились, застыли в невыразимом чувстве удивления и ужаса. Голова мягко упала на подушку, а рука слабо сжала горстку пепла.

Когда вошли в комнату и спросили его о чем-то, он не отвечал и глядел куда-то, не отрываясь, в одну точку.

А к вечеру в комнату старика вошла закутанная в толстый платок уборщица библиотеки Соколова, существо не замечаемое никем, но столь же привычное для посетителей рукописного отделения, как и он сам.

— Иван Афанасьевич! — сказала она, освобождаясь от своих одеял и шарфов. — Когда я подметала, то нашла вашу карточку! — И осторожно положила на стол смятую бумажку.

Старик медленно поднял глаза. Это было уже выше его сил. Не стыдясь своих слез, он протянул к ней костлявые руки, но тотчас же отвернулся

к стене. Соколова, вздохнув, повернулась и на цыпочках вышла из комнаты. А Иван Афанасьевич вдруг спустил ноги с постели и стал торопливо, не попадая в рукава, надевать пальто. Через несколько минут он семенил своей привычной дорогой к библиотеке...

В тот день, когда мне рассказали про Ивана Афанасьевича, я шел с работы по улице Росси и сел отдохнуть у ограды Екатерининского сквера. Голова кружилась. Ноги отказывались служить.

Но тут я поднял глаза и увидел знакомые колонны Публичной библиотеки, ее слепые, забранные фанерой окна, строгую черную Минерву с копьём на занесённом снегом фронтоне.

Вон там, где-то в одной из каморок первого этажа, сидел всю свою жизнь Иван Афанасьевич! Он бы не пропустил ни одного дня! Он и больной думал о том, как спасти свои пыльные, казалось бы, обречённые холоду и тлению манускрипты.

Я встал, и в глазах у меня косо поплыла улица, мутным туманом легли на бок деревья. Но я сделал отчаянное усилие, и всё стало на свое место. «Жить, жить и работать! Во что бы то ни стало работать и победить!» — выстукивало сердце, и я слушал его с захлестнувшим меня восторгом.



КОНЬ ПЕТРА

Из цикла „Легенды Ленинграда“

Я сидел на скамейке Адмиралтейского сквера и смотрел, как гасли лиловые, протянутые где-то над взморьем тучи. Свежий невский ветерок пошевеливал листьями отложенной в сторону книги. Народу было немного, и только у гранитной скалы Петра, совсем недавно освобожденной от досок и песчаных завалов, возплась и бегала детвора.

Закат развертывался ослепительно — весь правый берег Невы горел в его зареве.

Кто-то сел рядом со мной на скамейку. Где я видел эту растрепанную седую бородку, совпные темноватые очки и огромный серый картуз, тяжело надвинутый на самое переносье?

— Размышляете? — спросил с приятной хрипотцой осторожный стариковский голос. — Давненько не бывали в наших местах...

И тут я сразу вспомнил.

Это был Семен Назарыч, старик, которого знали решительно все в огромном доме на Исаакиевской площади, куда мне часто приходилось заглядывать в предвоенные годы. Мой приятель, художник, давний жилец этого дома, немало рассказывал мне в свое время о безобидных чудачествах этого одинокого, ютящегося в тихой каморке человека. С незапамятных времен был Семен Назарыч часовщиком где-то на Сенной и многие годы просидел у подслеповатого окошка, склонив спину над столиком с разными колесиками, пружинками, винтыками.

Косматая правая бровь была у него выше левой от постоянной манеры удерживать ею лупу, оттого, должно быть, у Семена Назарыча, когда он прямо глядел на собеседника, всегда бывало иронически-грустное выражение. Работа с точными механизмами внушила ему на всю жизнь пристрастие к порядку и мелочной аккуратности.

Если бы пришлось Семену Назарычу отвечать на обычный анкетный вопрос «Ваше основное занятие?» — он рядом с упоминанием о часовом ремесле смело мог бы написать: «Доброжелательство». Да, именно этим, несколько старомодным словом следовало бы определить его всегдашнее состояние и круг привычных, любимых занятий. Одинокий старик отдал себя целиком радостям и горестям огромного дома, в котором обитал, должно быть, уже лет сорок.

Правда, область его интересов была узкой, а характер деятельности носил черты многим непонятного чудачества. Это он, не добившись толку от управхоза, поставил на свой счет дополнительные электролампочки на темных лестницах — «для облегчения почтальонского труда», как любил он сам выражаться. Это он каждой весной привозил на тачке кучу золотистого песка «для детской забавы», вел строгое «санитарное» наблюдение за всеми бродячими собаками и кошками, случайно забегающими в подворотню. Нечего и говорить о том, что без участия старика не обходилось ни одно более или менее крупное событие в доме — будь это свадьба, или похороны, или просто очередной квартирный ремонт.

Он же ревностно подписывал на заем и ядовитыми сатирическими стишками в жактовской газете обличал хронических неплательщиков и злостных нарушителей общественного спокойствия.

К старику относились в доме с иронической снисходительностью и в общем добродушно. И у него не было врагов, кроме настороженного управхоза Дыневича, мрачного усача в парусиновом пальто, крайне ревниво относящегося к своему неустойчивому авторитету, и веселых беспечных мальчишек, получивших у старого часовщика прозвание «несознательных молодых граждан». Эта зеленая молодежь доставляла немало хлопот Семену Назарычу своими буйными шалостями, и главным образом лихим футболом, от которого частенько со звоном вылетали стекла первого этажа и подвальных помещений. Предводитель команды, четырехклассник Митя Козлов, не пропускал дня, чтобы не устроить какой-нибудь вылазки против старого часовщика, подвергая тяжким испытаниям его, казалось бы, неистощимое добродушие. Старик в свою очередь изощрялся в изобретении «воспитатель-

ных мер», и весь дом с интересом следил за этой педагогической битвой.

Всё это припомнилось мне, когда я поздоровался со своим старым знакомым, которого потерял из виду с самого начала войны.

— Ах это вы, Семен Назарыч? Живы? Здоровы?

— Помаленьку, помаленьку. Здоровье, конечно, уже не то, но всё же, как видите, скрипим, не жалуемся. Моего заводу еще надолго хватит.

— И никуда не уезжали за это время?

Старик как будто даже обиделся:

— Это я-то? Нет, милый мой! Я в Ленинграде родился, весь свой век жил, так неужто свой город так, ни с того ни с сего, в трудную минуту покину? Меня угославляли: поезжай, мол, старик, на Большую землю, не то с голоду и холоду ноги протянешь. Но я отклонил. Что у меня, рук, ног нету? Что я, уж ничем помощи оказать не могу? И назло всем советчикам на другой же день в пожарную команду записался. Не хотели было принимать по слабости здоровья и полному совершению возраста. Но я настоял. И даже потом благодарность имел за тушение «зажигалок» и сверхурочные дежурства.

Что тут было, и вспомнить страшно! Стоишь на чердаке, на сигнальной вышке, и так тебе и кажется, что первый же снаряд обязательно в тебя угодит. Завоет сверху, а ты голову в плечи. Но, однако, привык. Да и некогда было бояться-то! Такие ночи бывали, что только успевай тушить. Бегаешь по крыше, словно несовершеннолетний, ей-богу! И знаете, кто мне первым помощником был? Митька Козлов из семнадцатого номера! Помните?

— Митька? Самый ваш главный «правонарушитель»? Тот, кто все ваши клумбы топтал и лампочки вывинчивал?

— Вот, вот, он самый! Парню тринадцать лет, посмотрели бы вы, как он по чердакам лазал с совком да песочницей, чуть где загорится. Мы с ним и крышу чинили, и раненых из-под обломков вытаскивали, и дом по ночам стерегли. А позже, когда полегче стало, такой огород вот тут на пустыре разбили, что потом все только удивлялись. По всем правилам агрономической техники! А после снятия блокады мы с этим Митькой в ремонтной бригаде состояли и вон там, на четвертом этаже, в люльке качались. Сейчас он в ремесленное поступил, и я его там нет-нет по старой привычке навещаю.

Да, многое тут произошло, и не возьмись мы все дружно за дело, по-ленинградски, еще труднее было бы город от врага оборонить. Трудно приходилось, так трудно, что порой казалось — дух вон и лапки кверху. Но Ленинград — Ленинград и есть! И разве мыслимо такой город сломить и на коленки поставить?

Старик остановился на минуту и снял свой огромный картуз, словно желая этим жестом почтить мужество и стойкость великого города. Ветерок трепал его седеющие волосы. Закатные отблески угасали на том берегу, и черная громада Академии художеств еще резче выделялась на розоватом небе. Клены и липы слабо шумели над головой.

— И как мне теперь мило идти по этим самым улицам и не слышать больше там, наверху, гудения и воя — выразить невозможно! — продолжал Семеч Назарыч, снова надев картуз.

На днях остановился тут вот у Невского и читаю по привычке вслух: «Эта сторона при артобстреле наиболее опасна». А какой-то парень сзади смеется и говорит: «Недействительно, дедушка!»

Теперь вот всюду ремонт, чистят, моют, красят, разбирают старые кирпичи. И эти надписи стирают.

На нашем доме управхоз тоже хотел замалевать, да я ему протест выразил. По-моему, зря он это делает. Пусть хоть где-нибудь останется для памяти народной! Я бы даже кое-где и дзоты оставил. И стену поцарапанную, и даже, может быть, одно какое-нибудь разваленное здание, вроде как памятник. Пусть помнят люди, до чего фашисты в варварстве своем доходили! Об этом я уже и проект составил и вот хочу по инстанциям подать. Экспонаты тоже задумал на выставку героической обороны Ленинграда представить — сколько осколков разных сортов и калибров собрано с таких-то квадратных метров нашего ничем в историческом отношении не замечательного двора.

Семен Назарыч посмотрел куда-то поверх моста Лейтенанта Шмидта и помолчал с минутку. Потом, поправив очки и вздохнув о чем-то, осторожно тронул меня за рукав.

— Вон, смотрите, — указал он на игравшую у памятника Петра детвору. — Играют как ни в чем не бывало. Строят там кулпчики песочные, скачут за камешком. А ведь добрая половина из них пережила такое, что другим детям и во сне не снилось. И думаете, забыли? Вот послушайте, что я вам расскажу. Правда, время уже позднее, и домой мне пора, но всё же задержу вас на минутку, если позволите.

Старик откинулся на спинку скамьи, засунул руки поглубже в карманы — становилось уже свежо — и начал:

— Вот сижу сейчас и смотрю на памятник Петру. Я его и прежде любил, и как-то так получилось, что без этого коня я и города представить себе не мог. Бывало, идешь утром на работу, нарочно встанешь пораньше, чтобы сюда заглянуть. Стопшь и любишься. Величественный монумент! Как стали у нас тут поблизости бомбы рушиться да снаряды свистеть,

у меня нет-нет и засосет под ложечкой. Горя много, вон какие дома валяются, сколько народу проклятые враги бьют — уж кажется, где тут про какой-то памятник думать! А всё же и о Петре вспомнишь: как он там? Нет, вижу, стоит. И рука простерта.

Однажды смотрю: стали его досками одевать и песок за них сыпать. Для сохранения, значит. Прекрасно! У меня, старого жителя, даже гордость по сердцу прошла. Вот, думаю, это по-ленинградски! И врага бьем, и с военной работой справляемся, и даже нашли время о сохранении художества подумать!

Высится этот монумент, словно столп какой-то, — тесом обшит и землю присыпан. Курган не курган, а вроде этого. Не поймешь что. И так он всем в этом виде примелькался, что без него, без этой фигуры непонятной, и площадь не площадь.

Ну, как погнали врага от города и стала жизнь отогреваться — повеселел народ. И начались заботы, как бы город скорее в полный порядок привести. Дошло время и художеством заняться. Вижу, распаковали Николая конного на Исаакиевской, аничкиных коней откопали и опять на мосту поставили — думаю, очередь за Петром. Не пропустить бы, как его отрывать будут!

Народ тоже интересуется. И разные толки ходят. Кто говорит: «Всё это торжественно выйдет: соберутся девушки-дружинницы, веревки к верхушкам досок прицепят, дернут все разом — и он, как цветок, раскроется. Песок сам книзу сядет — и выйдет конь сразу, во всей красе!» А другие говорят: «Не так всё просто, за три-то года песок в камень слежался, надо будет кирками да мотыгами дробить».

А я слушаю и думаю: «Уж как там будет — не знаю, а только никак мне этого зрелища пропустить нельзя».

Каждый день хожу, приглядываюсь, не начались ли работы. И вот вижу: действительно готовится что-то. Сметнул, что во избежание напрасного скопления публики обязательно это дело будут делать ночью, тем более что май месяц. Нарочно в этот вечер спать лег пораньше. И представьте, какое недоразумение получилось. С усталости или чего другого — не знаю, только проснулся я уже часу в восьмом. Схватил шапку, бегу, ругаю себя по дороге, конечно, и тороплюсь так, словно опаздываю на поезд. Только обогнул я сквер, вижу: уже стоит Петр во всей красе — конь на дыбах, плащ за спиною, как туча, клубится, а весь монумент так и рвется вперед, так и летит, вот-вот со скалы одним прыжком ринется.

У меня даже дух от красоты захватило. А змея под копытом от злости в клубок свилась. «Так! Так! — чуть не кричу я ему. — Дави ее, всадник!»

И вот подхожу ближе. Кругом обломки досок, песок кучами, и из работников почти никого уже нет. Сильно я опоздал, всё дело без меня свершили. «Эх, старик, старик!» — говорю я себе и головой только качаю.

Но радость сильнее обиды, и хожу я кругом этого коня и всё наглядеться не могу. А ребятишек набралось с соседних дворов видимо-невидимо, через решетку проникли, на скалу взобрались, по змее вниз, как с горки, съезжают. Шум, визг, веселье — даром что ранний час. Смотрю я, смеюсь вместе с ними и вижу: идет нанскосок от сенатского здания какой-то солидный гражданин с портфельчиком под мышкой. «Это что, — кричит, — за безобразие! Не успели памятник открыть, как сразу же и баловство!» Подхожу я к нему и вежливо спрашиваю: «А вы кто же такой будете?» — «Как кто? Представитель охраны памятников

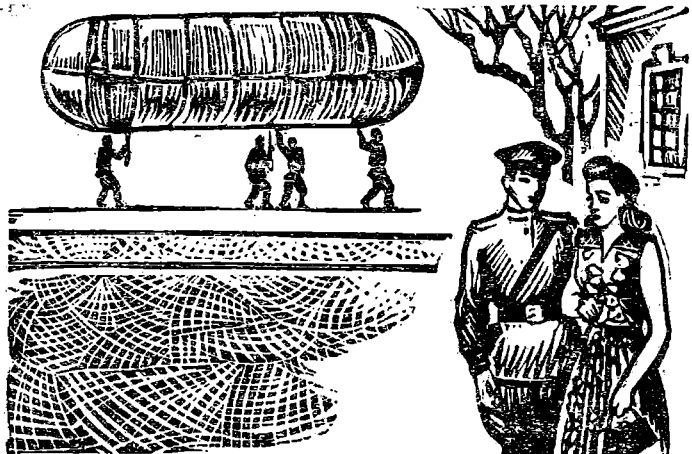
старинны и искусства, и Петр в моем секторе значится».

Шуеуул он ребят и ходит вокруг монумена. Я за ним. Вдруг вижу: застыл он на месте и побледнел даже. «Нет, вы поглядите только, что эти сорванцы сделали!» — и тычет куда-то вверх портфелем. Не успел я взглядеться, как он снова в крик: «Тут комиссия скоро прибудет, а у нас... скорее, кто там есть, тряпку или что там другое давайте! Живо — тут каждая минута дорога!» А на его крик уже бегут дворники из соседних домов и ребята, которые постарше. Сам суетится за четверых и тоже хочет на скалу лезть.

Вгляделся я и вижу: на груди-то у Петра мелом, по-ребячьи крупно и четко, по всем правилам, огромная медаль «За оборону Ленинграда».

Ну уж не знаю, как они там суетились, а я пошел домой, чувствую, весь от головы до пяток улыбаюсь — невесть с какой радости. Конечно, думаю, со своей стороны они, старины, правы: беспорядок и всё такое — шалость ребячьа. Но как хорошо! И не только то, что ребята Петра наградили, — он, может, и вправду того стоить как ленинградец, мужественно блокаду переживший. Суть-то в том, что они здесь всему городу нашему медаль выдали. И себе, и вам, и мне, старику, и даже тому сердитому дяде, который сам, быть может, из-за всех дел блокадных и этой статуи волновался, ночей не спал, а теперь следит за тем, чтобы всё в полном порядке было.

Эх, «ленинградцы, ленинградцы, дети мои!» Ну как такому городу не стоять вовек!



ВЕСНА ЛЕНИНГРАДА

— Да... Встречи бывают разные... — глубокомысленно заметил майор и потянулся за кружкой с чаем.

В землянке было тесно и жарко. Лиловатый махорочный дым лениво вытягивало в приоткрытую дверь. Кто-то подбросил в печку две-три щепки, и сразу выступили из сумрака бревенчатые стены, стол, загроможденный котелками и тарелками, бледно-розовая карта в изголовье кровати.

— Встречи бывают разные, — повторил наш хозяин и усмехнулся в коротко подстриженные усики. — Иной раз не знаешь, где найдешь, где потеряешь...

Был я этой осенью в командировке, в Ленинграде, — первый раз с фронта. Ехал уже не по озеру, а поездом вдоль берега, через только что отвоеванный Шлиссельбург. Ну, сами понимаете, с каким волнением узнавал я родные места. Легко ли сказать — уходил я отсюда на фронт пешком, в жуткую январскую стужу сорок второго. Помню, еле волочил ноги по сугробам и ухабам мимо искалеченных домов, мимо очередей у забитых фанерой лавок, мимо трупов на детских саночках и закутанных в тряпье старух. Точно призраки двигались в морозных сумерках безмолвные человеческие фигуры — сразу и не разберешь: мужчина или женщина. Все в ватных штанах и таких же кацавейках. И ни одного громкого слова вокруг, ни единой улыбки! Как будто люди навеки потеряли голос и разучились смеяться.

А сейчас совсем другая картина. Чем ближе к центру, тем больше берет меня удивление. Правда, полуразрушенные дома чуть ли не на каждом шагу, но уже копошатся около них люди — разбирают кирпичи и груды всякого хлама... Нет-нет пробежит и трамвай — совсем по-старому. Народ на тротуарах в светлой летней одежде. У многих в руках цветы. Посмотришь на лица, и даже трудно представить, какими они были в ту страшную зиму. И особенно изменились женщины. В этом ярком весеннем солнце, в толпе, впервые свободно заливающей улицы, словно пришел уже полный конец блокады, все они молодые — в походке, в движениях, в чертах лица. Может быть, мне это только показалось — не знаю, но то, что город воскресает, тянется к мирной жизни, когда можно просто идти, дышать весенним воздухом, радоваться встреч-

ным улыбкам, вести беспечные разговоры, хотя бы только сегодня, в этот праздничный яркий день, — не подлежало никакому сомнению.

Я радовался вместе со всеми и жадно ловил каждую деталь нового для меня быта: свежий огородный кустик в городских скверах, а то и прямо на улице, чисто протертое окно, освобожденные от фанеры витрины, подметенный асфальт. И народ-то был уже совсем другой. Мне некогда было вникать в подробности, но одно я заметил сразу — всем словно прибавило сил и жили все с немислимой прежде легкостью, свободой движений, по-молодому.

И в самом деле — в самых серьезных учреждениях люди в эти дни улыбались беспричинно, говорили с необычной приветливостью, оказывали друг другу мелкие услуги. Пассажиры в трамваях не толкались, в очередях безмолвно уступали место пожилым и детям. И, словно понимая, что не может бесконечно длиться такой рай на земле, торопились дышать долгожданным воздухом весны.

С утра купил я билет в Музыкальную комедию, решив провести вечер, как полагается офицеру, приехавшему с фронта. Предстояло еще навестить свою квартиру, которую жена, эвакуируясь из Ленинграда, оставила на попечение дворничихи.

Дела в этот день кончились рано, и решил я не спеша завернуть в парикмахерскую «освежиться». Гляжу: народу там немало, и всё такие же благодушно настроенные отпусники-офицеры. Сел с краю на диванчик, взял со стола газету и делаю вид, что с головой погружен в чтение. А кругом шуточки, легкие разговоры, лязганье ножниц, кокетливые движения пышноволосях девушек в белых халатах — всё та же атмосфера подмигивающего душу легкомыслия. Рядом — небольшое дамское отделение. Там тоже какой-то

смех, шушуканье, шорох и в зеркале, в просвет приоткрытой двери, быстрые, любопытные взгляды. Я сижу так, что мне одному видны чьи-то красиво удлиненные глаза под искусно выведенными бровями. Над ними шапка пушисто взбитых волос. Всё остальное скрыто складками снежно-белой простыни.

Бывает в жизни так, что по непонятным причинам понимаешь друг друга с полувзгляда. И даже раньше, чем успеешь подумать, зачем это тебе нужно.

Я побрился и всё так же, не спеша, даже не взглянув на эту дверь, вышел на улицу. Остановился у фотографии и стал для чего-то разглядывать выпцветшие карточки, пережившие блокаду.

Прошло минуты три-четыре, не больше. И вдруг, чувствую, за моей спиной останавливается она, незнакомка из парикмахерской. В витрине отразились легкое цветное платье, загорелые, обнаженные до плеча руки. У нее чуть скуластое смуглое личико, слегка насмешливые глаза. Но особых примет, как говорится, нету.

Я обернулся, и мы пошли почти рядом в том странном и не очень приятном ощущении, когда чувствуешь, что надо сказать какое-то первое слово, а оно, как нарочно, не приходит на язык.

Навстречу нам текла летняя цветная толпа, стуча, пронеслись трамваи, отразив на мгновение в своих свежевывмытых стеклах небесную голубизну, громыхали тяжело нагруженные военные грузовики, шли небольшие отряды девушек ПВХО в синих комбинезонах. На углу Садовой и Инженерной дорогу пересекал огромный аэростат воздушного заграждения, медленно и торжественно ведомый под уздцы стриженными парнями в защитных гимнастёрках.

Не помню, как и с чего начался разговор, но он все же начался. Мы шли уже рядом. И уже не казалась

странной наша встреча. Оба мы подчинялись безотчетному влечению людей друг к другу в такие незабываемые для города дни, когда атмосфера общего доверия и доброжелательства, казалось, была разлита в воздухе. И нас ничуть не смущало, что мы совершенно незнакомы. Нам было весело так, как бывает весело людям, ничем не связанным, когда идешь, не видя перед собой определенной цели, и говоришь то, что прежде всего придет в голову.

Выяснилось, что моя спутница всего полгода в Ленинграде, где никогда раньше не бывала, что приехала сюда работать на каком-то возрождающемся заводе, еще в тяжелые для города дни, и поселилась у своих родственников. Вот всё, что я узнал о ней. А меня она видела целиком с первого взгляда во всей моей армейской стандартности и как будто не интересовалась узнать больше.

Мы проходили мимо уже густой зелени Михайловского сада.

— Зайдемте? — предложил я и пропустил ее первой в полуоткрытые ворота. Неторопливо миновали мы капустные и картофельные грядки, зачем-то обошли кругом береговой павильон, посидели с полчаса на покосившейся скамейке. Она срывала какие-то травки, ловко плела из них узкими загорелыми пальцами затейливые колечки и тут же равнодушно бросала их на дорожку.

Поговорили немного о музыке, о книгах общего достояния, о городе, о дружной весне, о том, как хорошо бы ехать сейчас на белом волжском пароходе, где-нибудь в верховьях, и чтобы по берегам цвела черемуха, а за кормой низко-низко проносились небоязливые чайки.

Солнечные пятна дрожали на ее платье, на смуглой шее. Рука, лежавшая на девически остром колене,

была так близко от моих пальцев, что мучительно хотелось прикоснуться к ней. И всё же я не сделал этого движения, потому что и так мое существо было полно тихой радости. Я наслаждался этой беседой ни о чем, соседством с милой и легкой женственностью — чувством, давно забытым во фронтовых скитаниях.

А за старинной решеткой шла обычная городская жизнь, и на той стороне улицы слабо поблескивала над грязно-бурой глыбой Инженерного замка привычная игла.

Но время шло, и надо было возвращаться.

— Позвольте мне проводить вас, — сказал я.

Она посмотрела на меня и сказала просто:

— Спасибо.

Когда мы по мосту переходили Фонтанку, моя спутница вдруг остановилась, быть может на секунду, и взглянула на меня. И то, что она не улыбалась при этом, как обычно, прошло по мне волной неожиданного смущения. Мы шли, как и прежде обмениваясь редкими замечаниями, жадно дыша речною сыростью, ощущая приятную весеннюю звонкость асфальта. Но всё же с каждой минутой сгущалась вставшая между нами неловкость, о которой не было и помина еще несколько минут тому назад.

Я смотрел на тронутые закатом завитки волос, взглядом ощущал свободную легкость ее слегка полнеющего тела и с недоумением думал: «А ведь я так и не знаю, как ее зовут. Если спросить, выйдет, пожалуй, неловко. Да и к чему? Вот мы сейчас расстанемся на этом перекрестке, и я ее больше никогда не увижу».

Мы уже повернули на улицу Некрасова, когда она сказала всё так же просто:

— Ну вот мы и пришли...

Миновали еще несколько огромных, знакомых издавна домов. Завернули в сводчатую темную подво-

ротню с гранитными тумбами по бокам и сонной дворничихой, не удостоившей нас взгляда. На пороге маленького невзрачного подъезда я хотел было остановиться.

— Я живу выше! — проронила она торопливо.

— Позвольте, я провожу вас до двери.

Теперь мы стояли на площадке третьего этажа перед массивной дверью и молчали. Пыльный солнечный луч перебирал медные гвоздики клеенчатой обивки, где-то тарахтела подвода, звонко спорили о чем-то дети, а в окне над железным скатом крыши и слепой полуразрушенной стеной в путанице проводов и старых оборванных антенн нежно зеленело повесенному чисто вымытое ленинградское небо.

— А вы знаете, я ведь тоже жил в этом доме. До войны, конечно. Мне всё здесь знакомо. И вот эта самая лестница...

— Как? Здесь! В какой же квартире?

— Да вот здесь. В двадцать втором номере.

Она широко раскрыла глаза и даже ахнула, чуть-чуть слышно. Ключик с легким металлическим звоном упал на каменные плиты. Я поднял его и передал ей в таком же молчаливом недоумении.

— Боже мой!.. Так значит, вы — Женья? Евгений Петрович?

— А вы... вы — Катя? Екатерина Николаевна?..

Мы снова взглянули друг другу в глаза и... рассмеялись, оба одновременно, не упустив и доли секунды. Нам казалось, что вместе с нами смеются и эта полутемная, обшмыганная лестница, и голубые от неба стекла распахнутого окошка, и весь старый дом, сверху донизу набитый чужими, спрятанными друг от друга существованиями.

Она первая заговорила быстро-быстро, словно торопясь перебить самое себя:

— Маша писала, что вы должны приехать, но я не знала когда. И уж просто устала вас ждать...

— Я приехал сегодня утром.

— А я три дня гостила в Озерках, у приятельницы. И прямо с поезда пошла в парикмахерскую... Но вы совсем не такой, каким я вас себе представляла.

— И я никак не мог бы вас узнать. На той сестринской карточке, где вы вместе с Машей, вы просто школьница с косичками. Разве тут узнаешь? Ведь мы встретились первый раз в жизни. Это удивительно! Просто чудо какое-то! Разве так в жизни бывает?

— Всё может быть в такое удивительное время! Разве весь Ленинград сейчас не одно большое чудо? Он, всё выдержавший и выстоявший, — чудо, какого никому и не снилось. А большое чудо притягивает к себе и малые чудеса. Вроде нашего с вами.

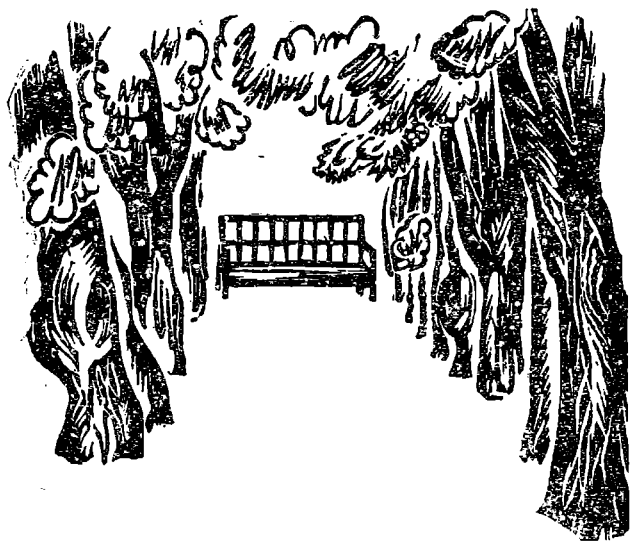
Она вся озарилась милой, смущенной улыбкой.

— Ну пусть будет так. Вообще-то говоря, это простая случайность. Но давайте называть ее чудом.

Теперь уж и мне стало как-то радостно и спокойно.

...Мы оба молчали. Что могли бы мы ко всему этому добавить? Я поклонился ей, она протянула мне теплую узенькую руку. Когда я спускался по лестнице, она перегнулась через перила, посмотрела мне вслед. Площадкой ниже я еще раз поклонился ей. Она сказала:

— Знаете, когда-нибудь придет же войне конец. Может быть, даже и скоро — правда? Наши вернутся в Ленинград. Я завтра же напишу Маше, что квартира в порядке и что я берегу здесь каждую мелочь...



ВСТРЕЧИ В ИСКУССТВЕ



ТАИСТВЕННЫЙ БАЛЬЗАК

Оноре Бальзак, один из трезвейших умов своей эпохи, любил окружать жизнь таинственностью. Ему нравилось с самым загадочным видом уклоняться от прямых вопросов, когда в этом не встречалось никакой надобности, принимать задумчивый вид в разгаре общего веселья, исчезать так же внезапно, как и появляться.

И в самом деле, в его повседневном существовании немало было такого, что всем казалось чудесным и

необъяснимым. Начать с того, что никто из друзей и знакомых не мог понять, как этот толстый и внешне неуклюжий человек с бычьей шеей монаха-францисканца и острыми, всё подмечающими глазами, этот увалень во фраке, спитом по последней моде, успевает появляться на всех людных сборищах Парижа, не пропускает ни одного литературного спора или скандальной премьеры и вместе с тем обнаруживает чудовищную, неслыханную работоспособность. Романы, очерки, газетные фельетоны следуют один за другим. *Когда* пишет этот человек и *как* пишет он? Доступ к нему труден, и редко кто из близких друзей может похвастать, что он видел Бальзака в домашних туфлях и халате, склоненным над рабочим столом. Его уединенные пристанища — а меняет он их часто — оказываются то в одной, то в другой части огромного города. И почти всегда окружены они таинственным садом, а у калитки дежурит цербер в виде отставного солдата или мопсообразной консьержки, один вид которой останавливает дерзающих. Меся Бальзака почти никогда нет дома — по крайней мере для незнакомых посетителей. И если он вечером, низко надвинув на лоб шляпу, пробирается по узким, зловонным улочкам предместья, никто не в состоянии узнать в нем блестящего собеседника и светского остролиста, каким он будет час спустя в каком-нибудь самом шумном и известном салоне.

И что более всего удивительно — этот известнейший из парижских литераторов, получающий, очевидно, никому не снившиеся гонорары, часто не находит в кармане нескольких франков, чтобы расплатиться за карточным столом. А между тем он бросает цветочницам золотые монеты и однажды случайному кучеру почного фляка, который жаловался на свою еле волокащую ноги клячу, оставил сумму, достаточ-

ную для того, чтобы купить новую лошадь со всей упряжкой.

Странный человек этот господин Бальзак! Его не всегда понимают даже близкие друзья. Один из них, Жюль Зандо, известный беллетрист, встретил своего друга, недавно вернувшегося из деревни, где он записки писал «Евгению Гранде». Торопясь сообщить парижские новости, Зандо стал рассказывать о тяжелой болезни дряхлой старушки, дальней родственницы Бальзака, чья смерть могла принести его другу немалое наследство. Бальзак слушал не прерывая, но наконец вздохнул и, хлопнув приятеля по плечу, заметил, не выходя из состояния глубокой задумчивости: «Всё это так, но вернемся к действительности, поговорим о Евгении Гранде!»

Альфонс Карр, встретив писателя как-то на улице, стал неумеренно восторгаться только что появившейся его книгой.

— Ох, друг мой, — возразил Бальзак, — как я тебе завидую...

— Почему? — удивился Карр.

— Ты не автор этой книги и можешь говорить о ней всё, что думаешь. Я же, к сожалению, связан по рукам и по ногам. Хвалить — неловко, разбранить — никто не поверит. А молчание все примут за гордость.

Другой современник рассказал еще более удивительный случай.

Однажды, при разъезде со светского раута, он предложил Бальзаку место в своей карете. Бальзак, обычно путешествовавший пешком, согласился охотно. Прежде чем лошади тронулись с места, он вдруг наклонился к соседу и с обычной своей таинственностью прошептал ему на ухо:

— Только, дорогой мой, одно условие...

— Какое же?

— Пусть кучер отвезет нас сначала к вашему дому. Я не хочу вслух сообщать своего адреса.

Привыкнув к чудачествам приятеля, хозяин экипажа ничуть не удивился. А когда расставались, он дал распоряжение кучеру отвезти господина Бальзака, куда тот укажет.

Утром кучер рассказал, что, немало покружив по Парижу, он ссадил наконец странного седока на пустынной площади. Тот наотрез отказался от возможности подъехать ближе к дому, очевидно не желая и здесь открывать своего адреса.

Через несколько дней приятели вновь встретились в шумном обществе.

— Я должен принести вам свои извинения, — сказал Бальзак. — Вы могли подумать, что я и от вас скрываю свое местопребывание. Но я действительно не мог в ту минуту вслух назвать своей улицы или позволить вам сделать это.

На лице собеседника изобразилось удивление.

— Потому, — продолжал Бальзак, — что нас могли услышать. Вы заметили этого подозрительного старика с яйцеобразным черепом у самой дверцы нашей кареты? Он так странно горбился под своим плащом.

— Позвольте, да ведь это наш общий приятель, скульптор Н. Он тоже был в салоне графини С.

— Боже мой, — вздохнул с облегчением Бальзак. — А я был уверен, что это старый скряга Гобсек! И мне показалось, что я ему должен сумму, которой никогда не в состоянии заплатить!

Да, странный человек этот господин Бальзак! И Париж на каждом шагу был для него городом неразрешимых тайн и загадок. А всё, вероятно, потому, что он уже давно переступил границу выдумки и действительности и населил город призраками своего воображения.

«Доктор социальных наук», как называл его Энгельс, он не выдумывал своих героев, а находил их там, где они действительно были... или должны были быть.

Рассказывают еще и о таком не совсем обычном случае.

В маленьком городишке, где-то на юге Франции, долгие годы жила на покое старая дева, м-ль К., — в обществе преданной служанки и дряхлого пуделя. Небольшая рента, накопленная осторожным ростовщичеством, позволяла ей вести скромное, но вполне обеспеченное существование. Она почти никуда не выходила из дому, разве что в церковь или на рынок, и никто не бывал у нее, кроме давней подруги, такой же стареющей девственницы, как и она сама. Жизнь м-ль К. была мирной и размеренной. Ничто не нарушало ее привычного спокойствия, и дни текли за днями, подобно неуклонному медленному движению заросшей тиной реки, пересекающей этот провинциальный городок, ничем не примечательный, кроме полуразрушенной монастырской стены да бронзовой статуи всеми забытого полководца.

Однажды утром приятельница м-ль К. вбежала в ее комнату со сбитой набок шляпкой, с растрепавшимися буклями, не успев даже закрыть дождевой зонтик. Узкой рукой в черной перчатке она потрясала раскрытым томиком в серой обложке, и глаза ее при этом были полны ужаса и недоумения.

— Нет, ты только подумай, Жюли, до какой наглости, до какого распутства дошли эти писаки в Париже! Куда мы идем, о боже мой! Несчастливая Франция! Вчера я купила эту книжку, стала читать ее, думая хоть немного развлечься. И с первой же страницы... Нет, это невозможно! Какой-то досужий болтун, очевидно побывавший в нашем городе, простер свою

наглость до того, что самым подробным образом описал не только эту улицу, этот дом, но и тебя, Жюли, не пожалев самых отвратительных красок. Вот смотри — здесь рассказано про все твои привычки, про твой образ жизни. Я не говорю уже о том, что твоя наружность описана так, словно ты ему позировала для портрета. Этот негодий пересчитал все твои морщинки, все ленты твоего чепца. Он даже знает, какую получаешь ты ренту, о чем говоришь со своим кюре и как экономишь на овощах и молочном супе, чтобы в воскресенье выпить чашечку кофе с бисквитом. Этот сплетник знает даже, что я прихожу к тебе в гости. Он передает наши разговоры так, словно сам не один раз их слышал. Мало того, он намекает на такие обстоятельства в нашем прошлом, о которых не говорят в порядочном обществе. Вот, смотри сама. Читай отсюда, с четырнадцатой страницы...

М-ль К. слушала приятельницу с выражением полнейшего недоумения. По ее сухим, пергаментного цвета щекам пошли бурые пятна. Она боязливо заглянула в указанную страницу и не могла не вскрикнуть от ужаса. Протянула было руку, но так и не решилась коснуться мерзкой книги. Пальцы ее дрожали.

— Но кто же он такой? Как зовут этого негодяя?

Приятельница захлопнула книгу, и обе могли прочесть на обложке ничего не говорящее им имя автора: Оноре де Бальзак.

— Слушай, Жюли! Этого так оставить нельзя. Подумай только, какая пойдет огласка по городу.

— Но что же делать? Что же делать, боже мой! Разве написать этому мерзавцу, потребовать от него объяснения.

— Ах, Жюли, ты всегда была сущим младенцем. Ну кто же ответит тебе на подобное письмо! Нет, на

твоем месте я сама бы поехала в Париж и приперла к стенке этого гнусного сплетника и пасквилянта.

— В Париж! С моим-то здоровьем ехать в такую даль! Да я и вообще никуда не выезжала с восемьсот восьмого года, и притом такие расходы...

— А всё же, дорогая, иного выхода нет! Давай лучше обсудим, как нам поступить. Не посоветоваться ли с господином кюре?

— Нет, нет, никто не должен вмешиваться в это дело. Я просто умру со стыда.

Начался домашний совет, в котором приняла участие старая служанка. Решено было всё же ехать. М-ль К. провела бессонную ночь, со вздохами отсчитала нужную для путешествия сумму, и ранним утром почтовый дилижанс унес ее из еще погруженного в мирный сон городка в далекий Париж...

Через двое суток м-ль К. стала обитательницей скромной комнаты в одной из окраинных гостиниц столицы. Ее сухопарая, одетая в черное фигура, провинциальный чепец и неизменный зонтик сразу же внушили достаточное почтение хозяину и слугам. Почему-то они были уверены в том, что приезжая дама хлопочет о введении в права наследства.

М-ль К. с утра уходила из дому и возвращалась только поздно вечером. Найти месье Бальзака в таком огромном городе, как Париж, оказалось делом нелегким. Правда, его знали и отзывались о нем, в общем, очень неплохо, но никто не мог указать его постоянного местожительства. Месье Бальзак часто менял квартиру, и для этого у него, вероятно, имелись веские основания. Он вообще не любил непрошенных посетителей, подозревая в каждом из них неожиданного кредитора. Денежные дела прославленного писателя — это всем было известно — находились в весьма запущанном состоянии.

Прошла неделя, другая, а м-ль К. так и не добилаь желаемого результата. Ее каждодневные поиски не приводили ни к чему. В одном доме ей говорили, что меье Бальзак не живет здесь с прошлого месяца, в другом — что он выехал только вчера, а куда — неизвестно. Но у м-ль К. был твердый характер. Деньги ее таяли, всякий на ее месте давно бы оставил бесполезные попытки, а она упрямо каждое утро выходила на поиски.

Наконец судьба ей улыбнулась. Один из книгопродавцов дал ей адрес, предупредив, чтобы она не откладывала своего визита. И в то же утро м-ль К. очутилась перед небольшим особняком на тихой улице. Она решительно толкнула садовую калитку. Перед нею выросла толстая фигура консьержки с мясистым, ничего доброго не предвещающим лицом.

— Дома меье Бальзак? Мне крайне необходимо его видеть.

— Его нет дома, и я не знаю, когда он вернется.

— Не может быть! Мне сказали, что он сейчас у себя.

— Не знаю, кто вам мог это сказать. Его нет!

И калитка уже была готова захлопнуться перед посом назойливой посетительницы, как м-ль К. осенила спасительная мысль. Она торопливо вынула из ридикюля скомканную кредитку, едва ли не последнюю, которая у ней оставалась, и с неожиданной ловкостью сунула ее в руку консьержки.

— Мадам может пройти. Но пусть она скажет, что нашла калитку открытой...

Не отвечая, м-ль К. быстрыми шагами направилась к небольшому флигелю, белевшему в глубине сада. Постепенно нарастающая раздражительность, вызванная долгими и бесплодными поисками, отвращение к этому дьявольскому Парижу, тоска по покинутой

спокойной жизни и, самое главное, долго накапливавшийся гнев честной и опороченной в своем благополучии убежденной девственницы — всё это вспыхнуло мгновенно в ее набожной буржуазной душе. Одним рывком распахнула она дверь и грозно стукнула зонтиком о пол, застыв в позе оскорбленного достоинства.

Перед нею в просторной комнате с голыми стенами за придвинутым к окну столом, на котором грудami были навалены книги и стопы мелко исписанной бумаги, сидел плотный, широкоплечий человек с грубоватыми чертами лица. Распахнутый ворот не то халата, не то монашеской рясы обнажал его полную, жирную шею и мощную волосатую грудь. Он вскинул на м-ль К. острые, умные глаза, в которых не было и тени удивления. Легкий огонек любопытства зажегся в них на одно мгновение и тотчас сменился выражением сдержанной учтивости. Он грузно приподнялся, опираясь о стол короткими руками:

— Сударыня?

М-ль К., едва сдерживая душивший ее гнев, спросила отчетливо и резко:

— Месье Оноре де Бальзак?

— К вашим услугам.

— Я — Жюли К.

— Прекрасно! Я был уверен, что вы... существуете. Благодарю вас, мадемуазель!

Посетительница, ошеломленная неожиданностью этого заявления, не могла произнести ни слова. Она так и осталась стоять с полураскрытым ртом, и по выражению ее лица было видно, что в ее сознании происходит какая-то мучительная работа. Что он хотел этим сказать?

А Бальзак, выскочив из-за стола, плотнее запахивал на ходу халат и с самым обезоруживающим видом

пододвигал ей единственный свободный от книг и рукописей стул...

Многое, многое можно было бы рассказать об этом удивительном господине Бальзаке, воображение которого способно было населить живыми, непохожими друг на друга людьми целый город и каждому из них дать биографию — во всех мельчайших подробностях быта и родословной. В его голове жила целая страна, его толстые грубоватые пальцы умели распутывать клубки самых сложных социальных отношений. Можно было только подивиться тому, что, продираясь всю жизнь сквозь густую толпу вольных и невольных актеров своей «Человеческой комедии», разыгранной по всем правилам буржуазной алчности, злобы, скупости, высокомерия, униженности, лести, обмана, ханжества, чиновного зазнайства и лицемерной добродетели, он сам умея сохранить до конца ясность ума и непоколебимую честность беспощадного судьи своего века.



НЬЮТОН И ЕГО ГОСТИ

На западе тучи были лиловыми, словно отлитыми из меди, и казалось, что стоят они здесь с давних времен. Предгрозовою тяжестью лежала на садовых клумбах, на кустах жимолости духота июльского полудня. Мягко клубилась пыль следом за удалявшимся всадником. Легкие очертания кембриджских холмов уходили в мутную, чуть струящуюся даль.

На шиферных крышах маленького городка, на мшистых камнях его старинных готических построек чуть

колыхалась узорчатая тень дубов и каштанов. Плиты университетского дворика сверкали ослепительно. На них больно было смотреть. И только от реки чуть веяло свежим запахом тины и болотных кувшинок.

Он вышел из садика и аккуратно по привычке прихлопнул калитку. Пола камзола зацепилась за колючки пиповника. Освобождая ее, он улыбнулся чему-то и тронул осторожными пальцами жадно раскрытые навстречу солнцу лепестки. Но суховатое лицо тотчас приняло обычное, несколько надменное выражение. По улице поднимались городской советник — надоедливый остролов с лицом, изрытым оспой, и длинноносый клерк в непомерно узком щегольском камзоле. Они почтительно приветствовали профессора математики и председателя Лондонского Королевского Общества. Высокий парик с завитыми рожками снисходительно склонился им навстречу.

— Прекрасная погода, сэр! — прошепелявил советник. — Господь бог в этом году не забывает Англию.

— Добрый день, мистер Тодери. Надеюсь, вы чувствуете себя превосходно? Это я вижу по свежему цвету ваших щек. Как ваши яблони?

Постояли, поговорили минуты две-три. Клерк равнодушно подталкивал концом трости мелкие камешки. Стрижи со свистом ныряли в пролеты ближайшей колокольни. Какая-то собачонка задержалась на минуту у тумбы, поглядела на собеседников и, опустив левое ухо, побежала дальше.

Профессор вежливо приподнял шляпу и начал спускаться знакомой тропинкой к реке. Он неторопливо обогнул длинный сад судьи, и ему сразу стала видна вся дорога, мягкими извивами уложенная между холмами. Пахнуло свеженросушенным сеном из раскрытого настежь сарая, кривые тени яблонь легли под ногами. Тонко, назойливо шел где-то над ухом неторо-

пьящийся шмель. Ньютон сдернул парик, и острый ветер пробежал по его коротко остриженным седеющим волосам. Глаза сузились, когда он взглянул в ослепительное небо, толстые губы невольно сложились для свиста. Легкая дребезжащая мелодия старинной ирландской песенки порханием бабочки сопровождала его всю дорогу. Он был в духе. Он отложил всякую работу. К нему сегодня должны были приехать друзья, и уже близок час прибытия лондонского дилижанса.

В придорожной гостинице «Золотая подкова» сэр Ньютон сел у широко распахнутого окна и спросил себе кружку простонародного эля. Прихлебывая, он поглядывал по сторонам. Ждать ему пришлось недолго. На далеком склоне, по которому осторожно спускалась дорога, выросло небольшое клубящееся облачко. Скоро стали различимы и лошади, запряженные цугом, и высокая карета, похожая издали на медленно ползущего жука. Профессор улыбнулся и допил эль. Бросив на стол тяжелую монету, он торопливо напялил парик.

Сонный двор гостиницы заметно оживился. Пробежал слуга, на ходу завязывая зеленый передник. Судомойка вышла на порог кухни с ослепительным медным тазом в руках. Растворились ворота. Звонко и резко щелкнул бич подъезжающего экипажа, гнусавый рожок почтальона весело и задорно прокатился по сонным улицам. Во двор, скрипя колесами по сухому гравию, тяжело и осторожно въехала слегка накренившаяся, запыленная карета. Звонко и отчетливо упала подножка, и на горячие плиты двора, один за другим, пыхтя и отдуваясь, вылезли дородные, закутанные в пыльники джентльмены: профессор физики и оптики сэр Джинстон, ботаник Суррей, математик Кэльб, геолог Пибоди — все грузные, похожие друг на друга,

розовощекие, крепкие и свежие, как только что вымытая морковь.

Сэр Исаак, широко распахнув руки, шел к ним навстречу.

Обедали в саду за круглым деревянным столом, врытым в землю. Дрожащие тени скользили по скамьям. Мелкие лепестки липы, мягко кружась в воздухе, опускались на академические парики, плавали в стаканах. Геолог досадливо отмахивался от бабочки, привлеченной ярким цветом его огромного мясистого носа. Хозяин с любезной улыбкой подливал вино из пузатой темно-зеленой бутылки.

После яблочного пирога пришлось расстегнуть нижние пуговицы камзолов. Парики уже давно вписали на ближайших сучках. Разговор приобрел дружескую непринужденность, и со стороны можно было подумать, что в садике у члена парламента и президента Королевского Общества празднует новоселье пчелиный улей.

Двое слуг беспрестанно бегали в дом за новыми бутылками. С реки доносились мерное постукивание валька, ребячий смех и плеск воды. Где-то вдалеке приглушенно шумела мельница. Синицы и малиновки осторожно попискивали в ветвях над самой головой. Легкая янтарная капелька упала с ветки вяза на лысину сэра Джинстона, но он даже не заметил ее, разгоряченный вином и дружеской беседой. Она поблескивала на его гладко полированном черепе. Суррей, впавший в задумчивость, бросал куриные косточки неизвестно откуда взявшейся собачонке, Кэльб жевал солонинку и смотрел не отрываясь, как полдень дробится и сверкает в гранях тяжелого стакана. Пибоди катал хлебные шарики и строил из них маленькую пира-

миду. Сэр Исаак расточал улыбки. Он весь светился неудержимым весельем. Запах бульона и липы вкрадчиво щекотал ему ноздри.

— Пойдемте посмотрим сад, — сказал вдруг хозяин, отбрасывая на стол салфетку. — В этом году необычайные розы.

Отяжелевшие джентльмены лениво поднялись с сидений. Одно из кресел мягко упало на траву. Шли гуськом, тяжело дыша, вытирая лысины цветными платками. Толстяк Кэльб едва поспевал за остальными. А сэр Ньютон останавливался то у одной, то у другой куртины, осторожно разгибая тростью колючие стебли. Пышные, отягощенные собственной тяжестью чаши то матово-белых, то тускло-алых цветов жадно дышали на солнце.

Разговор от университетских сплетен незаметно перешел на более высокие предметы. Сэр Джинстон учтиво осведомился, как идет работа над «Principia». Кэльб с вкрадчивой и несколько лукавой улыбкой коснулся некоторых спорных вопросов анализа бесконечно малых величин по методу флюкций. Хозяин недовольно поморщился. Он не любил никаких предревременных и непроверенных суждений. Кроме того, кое-что таил до поры до времени про себя. Но добродушная улыбка скоро сгладила морщины его высокого лба.

Спорить было жарко. Длинные косые лучи, прорываясь сквозь листву соседнего сада, мягко упирались в стену дома, густо затянутую диким хмелем.

Общая беседа разгоралась неторопливо. Брожение вина вызывало приятные и округлые мысли. Обычные страсти, успокоенные отменным обедом, не дерзали поворачиваться острыми углами. Со стороны казалось, что разговор, подобно ленивому течению летней реки, осторожно оглабал все встречные острова и мели.

А благопристойное английское солнце неспешно заливало скаты зеленеющих холмов.

Непривычно раскрасневшийся Суррей, развивая безобидные истины, положил в пылу разговора сухую, пергаментного цвета руку на блестящий стеклянный шар, венчающий клумбу. Ему было приятно разглядывать кривое отражение деревьев и домика, причудливо уменьшенное и изогнутое. Вдруг недоумение отразилось на его до той минуты беснечном лице. Он отнял пальцы и растерянно посмотрел вокруг.

— Удивительно! — пробормотал он. — Обратите внимание, сэр. Необычайный феномен природы. Солнечная сторона шара холодна, как лед, а к теневой нельзя прикоснуться.

Все обернулись в его сторону. Каждому захотелось убедиться в том, что в первую минуту показалось невероятным. Но было так, как утверждал Суррей. Обыкновенный зеркальный шар, украшение любого сада, оказался загадочным шаром. Переглядывались, недоумевая пожимали плечами. Глубокая морщина легла на лоб сэра Ньютона. Но он не проронил ни слова.

— Попробуем объяснить это необычайное явление, — хриплым и внезапно обретающим важность голосом прервал общее молчание розовощекий Джинстон. — Уважаемые коллеги! Прошу вас на минуту вообразить идеальную сферическую поверхность и источник света, посылающий на нее лучи...

Легким движением трости он начал что-то быстро чертить на влажном песке аллеи. Ученые головы важно склонились над паутиной только что проведенных линий.

— По закону отражения лучей от выпуклой поверхности, согласно высокоуважаемой формуле нашего почтенного хозяина, мы должны были бы иметь фокус вот в этой точке. — И он сердито ткнул тростью

в центр своего чертежа. — А между тем простая очевидность дает нам возможность убедиться, — тут Джинстон хитро покосился на Ньютона, — что не всегда отвлеченное умозаключение согласно с действительностью.

Ньютон резко повернул к профессору физики и оптики мутно багровеющее от раздражения лицо.

— И тем не менее, уважаемый сэр, логическое умозаключение, основанное на данных научного эксперимента, приводит только к несомненной истине. Ошибки быть не может.

— Так, значит, вы почитаете себя безгрешным, как господь бог? Не так ли?

Кэльб широко раскрыл удивленные глаза, губы Пибоди тронула лукавая усмешка.

Сэр Исаак, недовольно тряхнув воображаемым париком, яростно начал новый чертеж на песке дорожки, окружая его пестрой вязью формул и цифр. Всё пришло в движение среди лениво-благодарной группы ученых. Голоса перебивали друг друга, доказательства сменялись доказательствами, цифры косо ложились во всю ширину песочной площадки.

Ньютон разогнул спину, с усилием вытер батистовым платком капли пота с разгоряченного лба. Его мутный взгляд на минуту задержался на садовнике, с изумлением наблюдающим за господами.

— Джонс, — сказал он, задыхаясь, — ради создателя, принесите мне кружку холодной воды! Прошу вас, сэр!

Старик, только что нагнувшийся над своей лейкой, казалось, не торопился исполнить просьбу.

— Осмелюсь доложить, сэр... — заметил он не без достоинства, — вода вам не поможет в этом деле.

— Джонс! — сердито возвысил голос Суррей. — Вы, кажется, слишком много берете на себя, вмешиваясь

в ученый диспут членов Королевской академии. Не вашего это ума дело.

— Боюсь, что только моего, сэр! — возразил, кривя рот усмешкой, садовник. — Вы спорите уже четверть часа над тем, что и выеденного яйца не стоит. Дело тут совсем простое. Шар слишком нагрелся от солнца, и я только что повернул его, чтобы он не лопнул.

Ученые с недоумением и ужасом уставились на садовника. Трость выпала из рук растерявшегося Джинстона. Где-то хлопотливо бормотала водяная мельница. Ласточки со свистом разрезали розовый воздух.

И вдруг эту внезапную тишину покрыл оглушительный, по-ребячьи захлебывающийся хохот сэра Ньютона.

Шатаясь от переполняющего его веселья, он быстрыми шагами подошел к недоумевающему садовнику и заключил его в широкие объятия.

— Браво, Джонс, браво! Вы один стоите целого факультета. Я еще никогда так не смеялся в своей жизни.

И, по-озорному топнув широкой подошвой башмака, стер столбик цифр на уже вечерееющем песке дорожки.

Гости, обмениваясь смущенными улыбками, неторопливо направились к дому. Джонс долго смотрел им вслед. Косой луч, пробивавшийся сквозь густую листву вязов, переливающимся золотом плавился на боках его лейки, забытой в руке. Садовник вздохнул и старательно направил невысокий серебряный дождь на ближайшую грядку аютиных глазок.



МАНСАРДА БЕРАНЖЕ

Ночью прошел дождь. Когда Жюдит* широко распахнула окно, выходящее на крыши Парижа, в чердачную каморку ворвалось раннее прохладное солнце. Цветы на подоконнике запахла остро и назойливо, сливая свой запах с сыростью чуть дымящихся черепиц и горечью дымоходов. Снизу слабо доходил шум просыпающегося города. Два-три голубя медлительным полетом перечеркнули свежевывитую синеву.

* Жюдит Фрэр — верная подруга поэта, воспетая им в многочисленных песнях под именем Лизетты.

Жюдит быстро перебежала босыми ногами по скрипущим половицам, мурлыча под нос, вошла в легкую, во многих местах заплатанную юбочку. Потом одернула скомканную скатерть и, прежде чем убрать бутылку, посмотрела сквозь нее на свет. Остатки вина на мгновение загорелись темным рубином.

Беранже высунул круглую голову из-под одеяла. Легкие, седеющие волосы утиным пухом смешно торчали из-под туго повязанного фуляра, оберегающего по ночам его раннюю лысину. Он потянулся, хрустнул всеми суставами и только хотел повернуться на левый бок и блаженно закрыть глаза, как острый и пыльный луч заглянул ему в ноздри. Он потянул воздух, зажмурился на мгновение и чихнул — раскатисто и звонко. Жюдит, поднимая с пола туфлю, улыбнулась ему через плечо.

— Доброе утро, лежебока!

— Доброе утро, дорогая. Ты сегодня, кажется, в отличном настроении. Узнаю мою Лизетту. Если ты наклонись ко мне, я скажу тебе на ухо что-то забавное.

— Глупости! Я наперед знаю все твои секреты. Ты мне лучше скажи, будем ли мы сегодня обедать.

— Обедать? Я еще не думал об этом. А разве у нас ничего не осталось?

— Глоток вина и полторы лепешки. Ты разве забыл, что мы изволили вчера кутить по случаю дня твоего рождения?

— Да, правда, как я мог это забыть! Посмотри, нет ли какой монеты у меня в кармане.

— Если господь бог был настолько любезен, что положил ее туда ночью, то я несомненно найду ее там. Но мне кажется...

— И ты несомненно права. На небе не очень обеспокоены моими делами. Придется придумывать что-то самому. Право, это труднее, чем написать новую песню.

— Ах, если б твои песни кормили нас, как когда-то трубадуров!

— Да, но для этого пришлось бы шататься по замкам, сгибаться пополам в почтительных поклонах перед знатыми сеньорами, что при моей комплекции и образе мыслей было бы весьма затруднительно.

— Но ты был бы окружен почетом.

— Я и так окружен почетом.

— Ты? Где же это? В кабачке, среди приятелей, таких же голоштанников, как и ты сам?

— А скажи, почему тогда песенки Беранже распевают на всех площадях Парижа?

— Милый, я не об этом говорю. Это не почет, а почти слава. Народ тебя любит — это всем известно. У вельмож твои рифмы стоят поперек горла. Восемь месяцев тюрьмы за маленький сборничек песен — это ли не доказательство твоей дружбы с народом? Королевская юстиция это прекрасно знает. Но я говорю о другом. Ты бы, например, никогда не мог получить ордена. Кстати, что бы ты сделал, если бы тебе его предложили? Ответил бы новой дерзкой песней?

— Ну, если бы это было делом самого Карла Десятого, мне неудобно было бы оказаться невежливым. Я ответил бы учтиво, как и подобает истинному французу: «Ваше королевское величество! Я польщен столь высокой наградой. Но я лишен удовольствия ее принять, как это мне ни грустно. Я пел свои песни для народа. И только он может благодарить меня за них. А затем, увидев себя в зеркале с вашей звездой на груди, я просто боюсь лопнуть от смеха. — чего бы мне вовсе не хотелось. Поберегите награду для более достойных».

— О, милый мой! Какое счастье, что тебе никто не предложил этой звезды!

— Да, но со мной случилось нечто худшее. Вот сейчас увидишь.

И Беранже с лукавой усмешкой вытащил из кармана сюртука, висевшего над постелью, тугой, отливающий глянец конверт. Пока он расправлял на коленях хрустящий лист, Жюдит, полная любопытства, оперлась подбородком о его плечо.

— Боже мой! — воскликнула она вне себя от удивления. — Штамп министерства!

— Да, это пишут мне мои давние друзья, которые теперь стали министрами. Видишь ли, они делают мне весьма лестное и выгодное предложение, сразу выводящее нас с тобой из всех наших бедствий. Я получаю место в библиотеке Лувра. Чего уж, кажется, лучше? Но подожди, в конце есть приписка... «И мы надеемся, что ваше поэтическое вдохновение найдет себе достойную тему в великих делах настоящего царствования». Ну, как это тебе нравится?

— Мне это совсем не нравится!

— Мне тоже. И ты знаешь, как бы я ответил: «Сделайте Францию счастливой, и я буду воспевать вас даром!»

— О, Беранже! Милый мой друг!

И Жюдит порывисто обняла поэта. Потом, вырвавшись из его объятий, она подбежала к столу и тотчас вернулась с двумя стаканами и лепешкой.

— Давай выпьем, что осталось, за то, чтобы быть всегда свободными и любить друг друга!

Они чокнулись тихо, почти нежно.

А за окном всё шире шумел Париж, и голуби, сверкая крыльями, садились на подоконник.

* * *

С тех пор прошло немало лет. Так же встает солнце над крышами Парижа, так же воркуют голуби, подби-

рая хлебные крошки у окон мансард, но уж другие жильцы поселились в тесной комнатухе под самыми черепицами.

Беранже давно чувствует тяжесть прожитых лет на своих плечах. Шире стала его лысина, сутулится спина. Ходит он тяжело, с одышкой, опираясь на неизменную трость. И по старой привычке носит всё тот же длиннополый сюртук, давно вышедший из моды. С недовосприем поглядывает он на суетливо бегущих мимо прохожих. Все спешат по делам, у всех свои заботы. И сколько за эти годы пронеслось над Францией всяких бурь! Он видел еще мальчишкой пылающие развалины Бастилии, яростные баррикады тридцатого и сорок восьмого годов, он пережил реставрацию короля-торгаша Луи Филиппа, чванливого Карла X, засадившего его в тюрьму за маленький сборник дерзких песен во славу вольнолюбивого народа. И теперь с презрительной иронией взирает на подозрительную республику Луи Бонапарта, в котором уже явственно просвечивает облик будущего узурпатора.

Да, годы идут и идут. Новое время, а значит, и новые песни. Но для него они остаются теми же старыми и вечно юными. Народ, трудовой народ Франции, в душе которого, несмотря на все горести и лишения, живет непрестанная жажда свободы и неугасимое веселье, — вот его заветная тема, которой он никогда не изменял и не изменит до конца своих дней. Все знают, какой у него твердый, строптивый характер.

Но Беранже давно уже стало душно в узких улупах Парижа, в тесной толпе, охваченной лихорадкой стяжательства. Противно смотреть на пролетающее мимо коляски внезапно возникших богачей, на самодовольные лица монахов, на чиновную знать.

Вот уже который год снимает он маленький деревенский домик в ближайших окрестностях столицы,

У него там скромная комната с окном в сад, где пышно разрослись посаженные им розы и георгины. Много солнца, много птиц, запаха свежего сена и щебета ласточек под самым карнизом. Живет он уединенно, одиноко, добровольным отшельником, покинувшим соблазны беспокойного города. Слишком многое изменилось кругом. Нет уж лучших друзей, нет на свете и милой, верной подруги Жюдит Фрэр.

А всё же любимый и ненавистный Париж тянет его к себе неодолимо. Вот и сейчас с трудом поднимается он по извилистой улочке предместья и останавливается передохнуть перед высоким невзрачным домом. Снимает шляпу, вытирает вспотевшую лысину. И поднимает голову, ища взглядом что-то там, под самой крышей. Да, несомненно, вот оно, это самое окошко, третье с краю, откуда были видны крыши окутанного дымом и в те дни недоброго для него города. Но в этой мансарде, выше пятого этажа, жило его бедное и незабываемое счастье!

Беранже минуточку-две стоит в глубокой задумчивости. Потом, вздохнув, продолжает свой путь, ничего и никого не замечая вокруг...

Позже в своей деревенской комнатушке он настежь распахивает окно. Солнце уже идет к закату, остро пахнут цветы на грядках, длинные тени легли от разросшихся тополей. Где-то далеко лает собака, с реки доносится мирное постукивание вальков. Жадно дышит прохладой его грудь. Он отходит от окна, зажигает свечу на рабочем столе. Перо словно само бежит по бумаге, торопясь обрывками слов и едва понятными кривулями почерка задержать, остановить, спасти от быстро ускользающего времени то, о чем думалось там, в Париже, на узкой, полутемной улице, где навсегда остались его молодые годы...

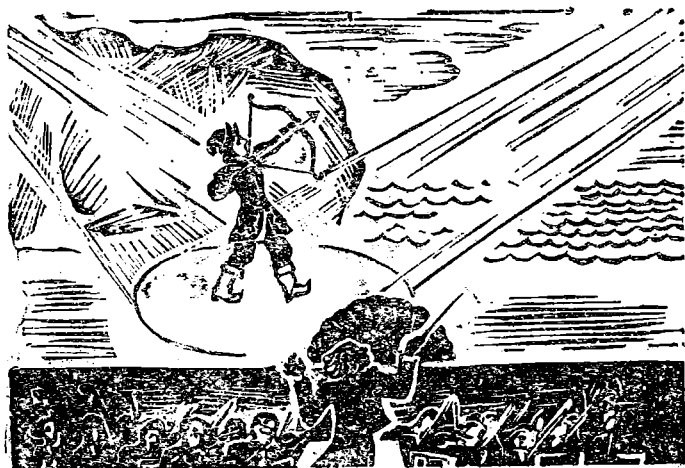
И вот я здесь, где приходилось туго,
Где нищета стучалась мне в окно.
Я снова юн, со мной моя подруга,
Друзья, стихи, дешевое вино...
В те дни была мне слава незнакома.
Одной мечтой восторженно согрет,
Я так легко взбегал под кровлю дома...

На чердаке всё мило в двадцать лет!
Пусть знают все, как жил я там когда-то.
Вот здесь был стол, а в том углу — кровать.
А вот стена, где стих, углем начатый,
Мне не пришлось до точки дописать.
Кипите вновь, мечтанья молодые,
Остановите поступь этих лет,
Как в дни, когда в ломбард отнес часы я.

На чердаке всё мило в двадцать лет!
Лизетта, ты! О, подожди немножко!
Соломенная шляпка так мила!
Но шалью ты завесила окошко
И волосы нескромно расплела.
Со свежих плеч скользят цветное платье.
Какой ценой свой легкий маркизет
Достала ты, — не мог тогда не знать я...

На чердаке всё мило в двадцать лет!
Я помню день: застольную беседу,
Кружок друзей и песенный азарт.
При звоне чаш узнал я про победу
И срифмовал с ней имя «Бонапарт».
Ревели пушки, хлопали знамена,
Янтарный пунш был славой подогрет.
Мы пили все за Францию... без трона...

На чердаке всё мило в двадцать лет!
Прощай, чердак! Мой отдых был так краток.
О, как мечты прекрасны вдалеке!
Я променял бы дней моих остаток
За час один на этом чердаке.
Мечтать о славе, радости, надежде,
Всю жизнь вместить в один шальной куплет,
Любить, пылать и быть таким, как прежде,
На чердаке прекрасно в двадцать лет! *



КУЛИСЫ

Горбоносый, коричневато-смуглый Верховный Жрец в голубой хламиде, недовольно собрав в складки высокий лоб, презрительно покосился на обезьяноподобного воина:

— Ну что ты ко мне привязался? В Осавиахим я плачу. В профсоюз плачу. В МОПР плачу. А тебе еще на кассу взаимопомощи надо! Да тут никакой зарплаты не хватит!

— Позвольте! — начал было вопи, но в эту минуту над их головами оглушительно задребезжал нудный нескончаемый звон.

— На сцену! На сцену! — взвыл где-то в конце коридора испуганный голос.

Захлопали двери, застучали бойко перебираемые каблучками ступеньки лестниц. Две эфиопки, сверкнув тугими коричневыми ляжками, стремительно пронеслись мимо, распространяя волну дешевого одеколона.

Актерский буфет понемногу пустел.

Томная, с осиной талией официантка, мечтающая когда-нибудь спеть Виолетту, меланхолически убирала измазанные кремом тарелки и стаканы. Радамес раздавил в пепельнице папиросу и встал из-за столика. В узком проходе за кулисы быстро рассасывалась пробка рабынь и рабов, оркестрантов, воинов, негров, египтян. Торопливо прошуршала сверкающим платьем Амнерис, заглянув в тусклое стенное зеркало. Две молоденькие прислужницы едва попевали за ней. Толсторукая Аида, про которую говорили, что она, как герцогиня у Сервантеса, идет всегда на полшага впереди себя, посмотрела на них презрительно и не ответила на заискивающий поклон.

На полутемной сцене шла последняя суета перед подвятием занавеса. Помощник бутафора, с мышиным личиком и остро бегающими глазками, уже раздавал опакхала. Плотники торопливо заколачивали последние гвозди. На высокий ступенчатый станок, занимающий всю глубину сцены, взбирались народные толпы, невольники, жрецы. За занавесом глухо перекачивалось ворчание настраиваемого оркестра.

Исай Григорьевич Дворищин, когда-то знаменитый Исайка, неизменный спутник и приятель Шаляпина, а ныне помощник режиссера и почетный старожил

кулис, строго оглядел величественную пирамиду белых туник, коричневых стриженных голов и сверкающих шлемов, сердито покосился на запоздавшего фараона и его свиту и мановением коротенькой ручки водворил полную тишину. Похожий на хлопотливого, взъерошенного воробья, он еще раз пронесся перед застывшими рядами египетского народа, продвинул ближе к рампе смазливых рабынь, сунул в задние ряды неказистого воина, выправил чье-то наклоненное копьё и одним прыжком скрылся за кулису.

Двое пожарников с красными от натуги лицами, вцепившись в канаты, ждали его сигнала. Отстукивая такт левой ногой и поймав нужную долю секунды, Исай Григорьевич качнулся вперед всем корпусом и испуганно прохрипел: «Давай!» Пожарники, быстро перебирая локтями, пустили блок. Пошел занавес. Раскатисто и весело, сразу распахнув пространство, грянули волны торжественного вердиевского марша.

Исай Григорьевич вытер лоб, сунул небрежно платок в карман разлетающегося пиджачка и с удовлетворенным чувством часовых дел мастера, пустившего в ход огромный башенный механизм, торопливо засеменил в курилку.

Акт, поставленный на рельсы, мог катиться и без него. Всё точно пригнано, всё предусмотрено, как на военном корабле, и есть ровно двадцать четыре минуты, чтобы сесть на потертый диванчик и выкурить папиросу.

В крошечной комнатке не продохнуть от табачного дыма. Среди молодых людей в галстуках бабочкой, унылых хозяйственников и выхоленных баритонов, не занятых в спектакле, необычайное оживление. На краю стола сидит сверкающий жестяными блестками воин-египтянин и взволнованно жестикулирует перед носом заведующего постановочной частью.

— Нет, ты понимаешь, какой дурак этот Бубликов? И кто это таких экземпляров бутафорами делает? Стою уже в кулисе, вот-вот выход, отстукиваю такт и думаю: ну, сейчас! Кладу руку на меч, а меча-то и нет! Одни ножны. Хотел я ему тут же этими ножнами, а меня на сцену выталкивают. И суют в руку чей-то лук. Так я — один во всем отряде! — с этим луком и вышел. А он, мерзавец, потом в антракте только зубы скалит. «Это, — говорит, — здорово получилось. Была жаркая схватка, меч потерян, и ты схватил первое попавшееся эфиопское оружие. Всё понятно. Полная иллюзия!» Да я ему за эту иллюзию!..

— Ладно, Саша, не кипятись! — заметил кто-то. — Мало ли какие накладки бывают. Иди, иди, пора! Твой выход. Меч-то на месте?

— Да ну тебя! — огрызнулся египтянин и сердито хлопнул дверью.

Оставшиеся рассмеялись. Разговор перешел на забавные и досадные случаи, которых так много в жизни театра, где всякая незаметная при другой обстановке мелочь вырастает, как под увеличительным стеклом, до чудовищных размеров. Эти происшествия вспоминают охотно, потому что ими разнообразится монотонная, всем уже надоевшая слаженность в сотый раз идущего спектакля. И у каждого найдется, что порассказать.

Перебрали немало занятных анекдотов — и самых свежих, и имеющих почтенную давность.

В довольно известном оперном театре, когда в трагических сумерках сводчатого терема терзался муками совести несчастный Борис, неизвестно откуда взявшаяся худущая кошка на глазах у зрителей неторопливо перешла через всю сцену и обнюхала распростертого на полу царя. Там же Дон-Кихот беспомощно повис на крыле внезапно остановившейся мельницы

к неожиданному и уже непритворному отчаянию бегавшего внизу Санчо. Торжественно плывущие под элегическую музыку Чайковского картонные лебеди, дойдя до середины своего пути, вдруг, к величайшему изумлению публики, одним рывком скрылись за кулисой. Яблоко Вильгельма Телля упало с головы сына, прежде чем горестно целившийся отец успел пустить стрелу.

Вспоминали находчивых актеров, успевавших на ходу исправить дело. Так, еще в старое время, Онегин на петербургском балу, увидев Татьяну, выходящую в зеленом головном уборе вместо полагавшегося малинового, не растерялся и, взяв под руку генерала Грешина, пропел прочувствованно и нежно: «Кто там в зеленом берете с послем испанским говорит?» Хуже было, когда дебютирующая Лиза в сцене на Зимней канавке, готовясь броситься в прорубь, не увидела в последнюю минуту под собою спасительного матрасика и упала на паранет, ломая руки, заливаясь самыми непритворными слезами над своей столь блистательно начатой и, как ей казалось, навсегда погубленной карьерой.

— В старину хуже бывало, — заметил заместитель суфлера, маленький, сморчкообразный старичок, и поперхнулся табачным дымом. Ему уже давно хотелось вставить слово. — Вот у нас был такой случай — не помню, то ли в Саратове, то ли в Казани. Ставили мы какую-то оперу, тоже сейчас не помню какую...

— Может быть, «Аскольдову могилу»? — насмешливо и небрежно уронил баритон, барабая пальцами по коленке.

Но старичок не заметил его иронии.

— Нет, не «Аскольдову», а что-то другое... Но не в этом суть. А был там музыкальный антракт «Гроза в лесу». И всегда у нас поднимали занавес при пустой

еще сцене. А от первой кулисы к заднику шел наискосок медведь. Большой это успех имело. Медведя изображал парикмахер Степка в настоящей шкуре, и ловко это у него получалось. Вот приехали мы в этот самый город, афиши во какие повесили, а билеты идут туго. Время уже к поднятию занавеса. Все волнуется, конечно, — первый спектакль! А тут как нарочно, хватились — нет Степки! Туда, сюда, помощник режиссера волосы на себе рвет — где он, мерзавец! А Степка лежит в бутафорской и не только лапы — руки поднять не может. В дым пьяный. Приятеля, оказывается, встретил. Как быть? Без медведя никак невозможно. Он уж в афишах объявлен (в старину так делалось), и мы на него большую надежду имели.

Трясем, толкаем Степку, а он только мычит и белками ворочает. Посоветовал кто-то бежать в соседний трактир, искать любителя. Но сами понимаете, кто же так, ни с того ни с сего, в медвежью шкуру полезет! Насилу отыскивали какого-то мужичка. Уломали за полтинник — деньги по тем временам немалые.

Привели за кулисы. «Можешь медведя изобразить?» — «Это можно, — говорит, — на святках ряженым не раз хаживал, и все довольны бывали».

Запили мы его в шкуру, как полагается, научили, как и что, и даем с богом занавес. На сцене полумрак, молния за молнией и шум дождя. Идет наш медведь через всю сцену на четвереньках, переваливается с боку на бок и даже лапой за ухом чешет. Всё честь честью. И вдруг над самой его головой оглушительный раскат грома. Сел наш медведь от неожиданности на задние лапы и со страху широким русским крестом перекрестился.

Публика взывала от восторга. Шум, крики, аплодисменты. Пришлось занавес опустить. Медведя потом раз двенадцать к рампе кланяться выводили.

С тех пор у нас на эту оперу ни одного билета нельзя было достать. За две недели вперед раскупали. Хорошие дела сделали мы тогда в Саратове! Вот вам и накладка! Накладки-то, они разные бывают.

Исай Григорьевич недовольно хмыкнул:

— Нет уж, лучше без накладок. Иной раз таким боком выйдет, что потом и не очухаешься. При Теляковском на одном из парадных спектаклей Зигфрид под звериную шкуру трусики забыл надеть. Сами знаете, что потом из этого получилось. До министра двора дело дошло.

А то еще в Москве — уже после революции — от одной такой накладки беднягу Сука за дирижерским пультом чуть удар не хватил. А дело было так.

Шла «Сказка о царе Салтане». Вступление ко второму акту, как известно, музыкальная картина — «Море». Идет по морскому берегу в жгучих декорациях Коровина царевич Гвидон с луком в руках и колчаном у пояса — для себя и для матери добыть дичины. Полагается ему пустить стрелу, и тогда сверху падает лебедь. И, коснувшись земли, превращается этот лебедь в прекрасную царевну.

Вот натянул царевич лук, пускает стрелу, а сверху — ничего и нет! Что делать? Гвидон остолбенел даже. Выручил Сук. Дал знак своим музыкантам, перевернули они назад страницу и начали снова. И так ловко это у них вышло, что из публики почти никто не заметил.

Приближается опять это место. А у Гвидона, на счастье, в колчане еще одна стрела — последняя. Пустил он ее снова и ждет с замиранием сердца, что дальше будет. Слава богу, летит сверху, развеваясь, что-то белое и серое и как раз посередине сцены хлоп — рванный валенок с портянкой! Это при полном-то тропическом пейзаже!

Зал сначала обалдел от неожиданности, а потом раскатился таким хохотом, что думали — стены треснут. Гремели все ярусы сверху донизу, люстра звенела, на галерке штукатурка сыпалась. Капельдинеры, уж на что равнодушные люди, и те животами на барьерах повзвели. Сук прыгает в оркестре, трясет кулачками и кричит во всё горло: «Занавеску! Занавеску давайте!» И пришлось в самом деле дать занавес, включить свет.

А что получилось? Плотник по обычаю сидел на колосниках на пятиэтажной высоте и держал наготове распростертое лебединое чучело. И то ли от жары, то ли от сладко убаюкивающей музыки Римского-Корсакова, как по-русски говорится, сомлел немного. И прозевал нужный момент. Ему снизу кричат: «Потапов, что же ты? Давай лебедя!» А он спросонок завертелся, засуетился и валенок-то с ноги и упусти! Дежурный по сцене, как это увидел, за голову руками схватился и чуть не сел на пол. А тут еще влетает за кулисы разъяренный Сук!.. Ну и была уж там гроза с молнией! Насилу старика успокоили. Антракт затянули, конечно. Однако дают звонки, и публика собирается в зал.

Начинают всё по порядку. Дошли до рокового места. Гвидон уже поднял лук, но не успел он натянуть его, как кто-то в ложе второго яруса как прыснет! А за ним и весь театр.

Сук останавливал спектакль, строго посмотрел на публику, подождал, пока успокоятся, и снова взмахнул палочкой. Но чуть добрался до нужного места, повторилась та же история. Театр грохотал. Сук, с лысиной, красной, как бархат кресел в зрительном зале, выбежал из оркестра, роняя на пути пюпитры. За кулисами он второпях накинул на себя шубу и уехал домой в совершенной ярости. Спектакль с грехом пополам довел до конца его заместитель. Да и то пришлось

совсем пропустить злополучный акт и начать прямо с третьего.

— Да уж тут ничего не поделаешь! — заметил кто-то из певцов. — Роковое стечение обстоятельств! Только напрасно Сук захотел переупрямить публику. На сцене, если уж что сорвется, хуже нет поправлять и начинать сызнова. Толку не будет. Хорошо еще, если такая накладка в конце акта. Можно, по крайней мере, занавес раньше времени дать.

— Ну, это тоже уметь нужно! Иной раз еще хуже выйдет. Помните, что в прошлом году в «Хованщине» было?

— Это вы про Ивана Петровича? — вмешался секретарь месткома. — Так разве это накладка? Так, пуштяковый случай...

— Ну, как сказать. Для нас с вами пустяки, а в публике большой эффект получился. И как раз под занавес.

— Позвольте, — не утерпел старичок суфлер. — Я это дело лучше всех знаю. От меня в двух шагах произошло. Вот сами извольте судить.

Облачают старого боярина, князя Хованского, в пышные одежды — для того, чтобы идти ему в царские палаты по зову правительницы Софьи. Хор сенных девушек поет: «Слава лебедю белому, слава!» Направляется он торжественно к выходу, а Иван Петрович, в качестве «злодея» Шакловитого, выскакивает из-за первой кулисы и вонзает ему в грудь деревянный нож. И должен он над трупом Хованского — «с демоническим хохотом», как у меня в ремарке указано, — повторить первую фразу хора: «Слава лебедю белому, слава!»

И что с Иваном Петровичем сделалось, не понимаю. Захотел почему-то эту сцену по-натуральному дать. Опустился на одно колено перед распростертым боя-

рином, приподнял его голову на ладони и только начал: «Слава лебедю...» — боярская голова и выскользнула у него из пальцев, и затылком о половицу — да так гулко, что по всему театру прокатилось. Однако Хованский лежит, помнит, что он мертвый, — только на лысине здоровенная шишка. Мне-то из будки всё видно. Допел «злодей» свою фразу, и уже занавес сверху пошел, и только он хотел раскатиться «демоническим хохотом», как труп-то, на музыкальной паузе, так и отчеканил, хотя и шепотом, но достаточно ясно: «Мерзавец! Не умеешь убивать, так не берись!» И занавес этих слов перехватить не успел, все в зрительный зал дошли. То-то смеху было!

...В это время защелкали двери, ожил коридор, на лестницу хлынула коричневая египетская толпа. Только что кончился акт. Плотники на сцене уже убрали громоздкий станок и очищали место для «лунной ночи».

Исай Григорьевич поднялся с диванчика и, хлопнув по плечу суфлера, сказал, подавляя зевоту:

— А не пойти ли нам, Алексаша, пива выпить!..



„НЕ ВЕРЮ...“

В Художественном театре всё было подчинено строжайшей дисциплине. Деспотия К. С. Станиславского не имела ограничений. Он был богом театра, его совестью и, как всякое божество, требовал беспрекословного послушания и жертвы. Он творил чудеса и поэтому всегда был прав. Ему приносили жертвы охотно, с самозабвением, потому что нет большего наслаждения в работе, как чувствовать себя свободным от всяких сомнений и покоряться чьей-то умной воле.

Станиславский думал за всех, и все думали для него. Он был Моисеем, ведущим в пустыне свой народ.

Но у каждого пророка есть любимые и непокорные ученики. Их иногда и любят за эту непокорность. И часто она называется талантом.

Таким любимым и строптивым «сыном» был у Станиславского В. И. Качалов. Он не спорил со своим учителем, он верил ему до конца, но не мог иногда отказать себе в наслаждении в чем-нибудь усомниться. Старик чувствовал это, но ни единым жестом не выдавал себя.

Однажды в молодости Качалова был такой случай. Репетировалась пьеса Мольера. Станиславский сидел в зрительном зале и зорко следил за всем, что происходило на сцене. Качалову казалось, что он вошел в роль. Он уверенно вел свой монолог, целиком поглощенный им, но в середине не выдержал и взглянул на Константина Сергеевича, ожидая поощрительного жеста.

Старик насмешливо прищурил глаза и сказал шепотом, но достаточно ясно:

— Нет, не то. Не верю.

Качалов внутренне похолодел и начал снова. Едва он дошел до прежнего места, Станиславский так же равнодушно и веско повторил:

— Не верю.

Качалов смутился. Он начал в третий раз и с грехом пополам довел монолог до конца. Станиславский даже не взглянул на него.

Ученик затаил обиду и решил во что бы то ни стало убедить учителя. На премьере он сыграл превосходно. Станиславский подошел к нему первый и поздравил с успехом.

— Теперь вы мне поверили, Константин Сергеевич?

— Я не верил вам потому, что верил в вас. Ваша победа — это моя победа.

И «бог» милостиво наклонил свою седую голову. Но все-таки божеству пришлось сознаться в минутной слабости. А этого никогда не надо делать перед смертными. В их памяти это сохраняется надолго...

Шло одно из очередных занятий по теории. Станиславский любил иногда внезапно отвлекаться в сторону.

— Представьте себе, — говорил ученикам Константин Сергеевич, — что у вас вложено в банк всё ваше состояние, все ваши надежды, мечты. Сейчас я объявлю, что банк лопнул. Пусть каждый по-своему переживает это известие. Итак, я начинаю.

И он хлопнул в ладоши.

На сцене произошло великое смятение. Все оттенки отчаяния, ужаса, печали, подавленного оцепенения. Один только Качалов остался равнодушным и рассеянно скользил взглядом по линии рампы, по кулисам,

— Что же вы? — изумился Станиславский.

— Я тут ни при чем, — спокойно заметил Качалов. — Я не вкладывал денег в этот банк...

Константин Сергеевич не знал: рассердиться ему или рассмеяться.

И он, конечно, рассмеялся.



ДОН-ЖУАН

— Уважаемый сеньор! Конечно, я человек неученый и с трудом подписываю свое имя, но среди крестьян нашего околотка мне никто не откажет в уважении. Никто не пройдет в жаркий день мимо моего кабачка, чтобы не завернуть в него — промочить глотку лучшим вином, какое только можно найти в Испании. Я никогда не подливаю в него воды, как это делают некоторые мошенники в Севилье, и никогда не отказываюсь

разделить беседу с моим гостем за блюдом баранины и стаканчиком, налитым до краев.

Судьба сулила мне быть простым кабатчиком в горной деревушке, и зовут меня все дедушкой Пабло Сезаре. Но, сеньор, не судите по внешности. Вы, как я вижу, носите роговые очки, и из кармана вашего камзола торчит какая-то рукопись. Значит, вы человек ученый, и вам будет интересно то, что я собираюсь сейчас рассказать. Ваше здоровье!

Так вот... Прежде всего я вовсе не Пабло Сезаре. У меня в свое время были весьма уважительные причины взять это простое имя вместо того, которое мне дано отцом и матерью при рождении. Видите ли, я человек скромный, я не люблю, когда алыгвазины или добрые отцы святейшей инквизиции начинают интересоваться моим прошлым. Что было, то прошло, и какое кому до него дело! Не так ли, сеньор? Пью в честь вашей милости.

О чем я сейчас говорил? Ах да, о своем имени. Как это ни странно, а я почти уверен, что вы кое-что о нем уже слышали. Ну, хотя бы потому, что оно встречается в весьма прославленной истории о некоем севильском дворянине Дон-Жуане де Маранья. Короче говоря, зовут меня Лепорелло, и находился я в услужении у этого дворянина немало лет, и каких лет! — даже вспомнить жутко!

Господин мой, мало сказать, что считался повесой и забиякой — такими в Испании хоть пруд пруди! — он был умен, как дьявол, и шпатою владел лучше, чем сам папа своими четками. На язык был остер, нравом насмешлив, деньги швырял направо и налево и поэтому нравился красавицам до безумия. Что находили они в нем такого, не понимаю, но ни одна не могла устоять, если он в церкви подсунет ей записочку или побренчит ночью на гитаре перед ее балконом.

Надо сказать правду, не одобрял я его поведения. Потому что сам имею характер степенный и положительный, и при моей склонности к полноте вовсе бы мне не пристало таскаться за этим бездельником по ночным пирушкам да ввязываться во всякие любовные интриги, из которых порою едва ноги унесешь! Но что поделаешь! Служба есть служба. Жили мы весело, о душе думать было некогда.хлопотливая у меня была должность, немало хлебнул я всякого горя, но, признаться вам по совести, ничуть об этом не жалею. По крайней мере, есть, что вспомнить.

С вашего позволения, сеньор, я налью себе еще стаканчик вина. Оно, видите ли, смягчит глотку и освежает память.

Так вот, жили мы с Дон-Жуаном в Севилье, и дня у нас не проходило, чтобы не случилось чего-нибудь такого, о чем потом говорит весь город. То заберемся ночью в епископский сад и очистим все клумбы, чтобы утром поднести букет какой-нибудь красавице, то ударим в церковный колокол среди бела дня, то в монашеской одежде произнесем с кафедры такую речь о блаженствах рая на земле, что монахи на другой день уходят в мир из своих келий. Надо ли говорить, что вся Севилья была взбудоражена поведением Дон-Жуана, и не миновать бы ему лап святейшей инквизиции за все насмешки над альгвазилами и самим кардиналом, если бы не выручала нас поистине дьявольская хитрость моего господина. Всегда он умудрялся выходить сухим из воды. Был он смел и находчив, в карманах у него звенели цехины, а золотая монета, как всем известно в Испании, вовремя брошенная на весы правосудия, всегда решает дело в пользу умного человека. Дон-Жуан был молод, красив, не боялся самого черта. Что ж удивительного в том, что ему везло и в картах, и в любви!

Однажды — было это, помнится, в ту пору, как зеленеют горы, а от запаха роз на улицах просто чихать хочется, — разбудил меня как-то ночью мой хозяин:

— Вставай, Лепорелло! Пора!

— Как пора? Куда пора? В такую-то темь? Человек спит тихо и мирно, а вы его будите ни свет ни заря. И черт вас принес — извините меня, сеньор! — как раз в ту минуту, когда я во сне только что собирался разрезать жареную пулярку. Как вам только не со-
вестно!

А он меня локтем в бок:

— Молчи, чурбан! Бужу для твоей же пользы... — и позванивает чем-то у меня над самым ухом.

— Что это такое? — спрашиваю.

— А ты не узнал?

— Если меня не обманывает слух, это что-то похожее на золотые цехины в кошельке.

— Верно! — отвечает Дон-Жуан. — И клянусь шляпой кардинала и башмачком его возлюбленной, половина их станет твоими, если ты мне поможешь в одном деликатном деле!

— Пресвятая дева! Опять вы затеяли что-нибудь такое, что на том свете запишут нам в черную книгу. А я полагаю, в ней уже больше ни единой чистой стра-
ницы не осталось.

— Лепорелло! Идешь ты или не идешь?

— О, господи, немощна плоть моя! Так и быть, возьму я от вас эти деньги — пропади они пропадом! Если разбудили, так уж, значит, надо вставать. Ну и службу послало мне небо! За одну такую службу оты-
щут мне в аду теплое местечко!..

Вышли мы осторожно, прикрывшись плащами, и не будь у меня с собой фонаря, переломали бы себе ноги в узких переулках — такая стояла на улице темень. Выбрались наконец на берег реки, перелезли ограду,

обогнули стену старого монастыря и остановились под чьим-то балконом.

— Здесь! — сказал Дон-Жуан.

В это время взошла луна, и я сразу узнал место.

— Господи! Да ведь это дом сеньора командора, хозяина города! Э! Вот в чем дело! У командора молодая дочь донна Анна, и ее черные глаза не дают вам спокойно спать по ночам! Ну, как хотите, а мое дело здесь сторона. Командор — старик, а значит, сон у него чуткий. Да к тому же у девушки есть и жених, дон Оттавио. Стоит ли ввязываться вам, сеньор, в историю, которая может кончиться плохо для нас обоих? Зачем вам лезть на явную опасность?

— Молчи, Лепорелло. Она прекрасна! И для меня это сильнее всех доводов рассудка. Она как звезда озарила темницу моей души, и я ли не спою ей от всего сердца любовную песню?

— Всё это поэзия, а проку в поэзии мало! Уж коль вам не терпится, напишите всё это своей красавице на бумажке, ну прибавьте там парочку-другую звонких рифм, пять-шесть пылких сравнений, а я уж, так и быть, подсуну ей эти стишки в церкви в молитвенник. Только упаси вас боже подписывать полностью свое имя.

— Ты не только дурак, Лепорелло. Ты трус при этом! Нет, о любви я могу говорить только открыто, лицом к лицу. И всю твою логику посылаю сейчас к черту. Если ты такая заячья душа, то так и быть — оставайся на улице и стереги эту калитку, чтобы я мог через нее благополучно выйти. Смотри зорко и не пропусти ни одного альгвазила! Ну и пожелай мне счастливого пути!

С этими словами он скрылся. Что было дальше? А дальше было вот что.

Только успел мой хозяин взять на гитаре два-три аккорда, как скрипнула вблизи дверь и на пороге

появилась... нет, нет, сеньор, не донна Анна, а черная фигура ее отца, уважаемого командора. Белая борода его в свете луны показалась мне совсем серебряной. Но глаза... глаза горели, как угли в жаровне.

— Что вы здесь делаете, сеньоры? — спросил он довольно почтительно.

Дон-Жуан, склонясь, махнул пером шляпы по песку дорожки и отвечал, выпрямляясь во весь рост:

— Мы готовились дать серенаду...

— Кому, смею спросить?

— Не вам, разумеется, а вашей очаровательной дочке. Она лишила меня сна.

— Какая наглость! — загремел голос старика. — Как ваше имя, сеньор?

— Имя свое я забыл, но твердо помню, что хорошо владею шпагой, и готов тут же, на месте, подтвердить свои слова.

Старик только скрипнул зубами и схватился за эфес. Дон-Жуан не остался у него в долгу. Клинки скрестились, как две молнии.

Я пытался было вмешаться, но получил такой удар локтем в грудь, не знаю уж от кого, что мне оставалось только отскочить в сторону.

Не прошло и нескольких секунд, как при стремительном выпаде шпага моего господина вошла чуть не до рукояти в грудь командора.

— Что вы наделали, сеньор? — крикнул я в ужасе, но Дон-Жуан тотчас же заткнул мне рот ладонью.

— Поздно об этом жалеть! — шепнул он. — Ни звука! Надо уходить отсюда как можно скорее. Слышишь, в доме уже шум. Сейчас сбегутся слуги.

Мне не надо было разъяснять положение. Одним прыжком перемахнули мы через ограду — и скрылись в придорожных кустах. И уж не помню, как и когда очутились на окраине города.

Стоит ли вам говорить, сеньор, что с этого горестного события и начались все дальнейшие злключения нашей бурной и беспокойной жизни! Когда пробирались мы с Дон-Жуаном по узким переулкам Севильи, не утерпел я и сказал своему хозяину:

— Ну вот, уложили мы шпагой командора, обесчестили на весь город его дочь, вызвали месть ее жениха, дона Оттавио. Что же дальше будет? Как хотите, сеньор, а в Севилье оставаться нам не следует. Надо уносить ноги, и поскорее. Если хотите послушать моего совета, — я ведь тоже кое-что соображаю, — давайте-ка мы, сеньор, не заглядывая домой, где нас уже наверняка ждут альгвазилы, выберемся сейчас же подальше за город и пойдем себе тихо и мирно по какой-нибудь полевой дорожке. Скоро солнышко встанет, птички запоют — благодать-то какая! Доберемся до какой-нибудь гостиницы, позавтракаем чем бог послал, возьмем двух верховых лошадей, и опять в дорогу. Власти нас ищут здесь, а мы будем уже далеко. А там, глядишь, доберемся до поместья вашего батюшки. Конечно, старик покричит, потопает немного, но ведь всё же вы родной сын и законный наследник. Выгнать, может быть, и выгонит, но деньжонок на дорогу мы у него всё же перехватим. И тогда поедем мы с вами дальше, куда вашей милости угодно. В Испании земли хватит. А что касается веселых кавалеров-собутыльников да чернооких красавиц под кружевной мантильей, то этим вас господь бог, надеюсь, нигде не обидит. Право, сеньор, будьте хоть раз в жизни благоразумны!

— Совет недурен! — отвечает мне Дон-Жуан. — Я и сам не прочь немного отвлечься от городских впечатлений. Да и к чему доставлять лишние хлопоты святейшей инквизиции? У нее и так дела много.

На том мы и порешили. И, не теряя ни минуты, отправились прямехонько к городской заставе. Но,

видно, судьбе в эту тревожную ночь никак нельзя было оставить нас в покое. Только завернули мы за угол, навстречу нам какая-то женская фигура. Дон-Жуан схватил меня за руку:

— Стой, Лепорелло! Видишь, кто там идет?

— Ах, ваша милость, — отвечаю я ему с досадой и тащу поскорей за собой. — Время ли нам сейчас обращать внимание на каждую встречную мантилью.

— Да ведь это, — говорит, — Эльвира, моя прежняя любовь! Я пропал. Сейчас заметит она меня, начнутся упреки, слезы... Вот некстати. Женщины ведь не умеют кратко выражать свои чувства! Что делать, Лепорелло?

— Эх, сударь, что я могу сказать! Что посеешь, то и пожнешь. Однако она приближается и, как мы с вами ни закутаны до пят, пожалуй, узнает вас сразу. Сворачивайте-ка поскорей в этот переулок и ждите меня у городских ворот. А я уж так и быть — задержусь на минутку и отвлеку внимание вашей красавицы, чтобы она не наделала нам хлопот.

— Ты истинный друг, Лепорелло!

— Ладно, ладно, сеньор! Бегите скорее. А я уж постараюсь ее утешить, как могу.

И действительно потратил добрых полчаса на то, чтобы сбить со следа уважаемую сеньору.

Вы, конечно, представляете, что, отделившись от Эльвиры, я поспешил догнать своего господина. Боже милостивый, за один этот день мы отмахали столько миль, что мне никогда и не снилось. Усталые, добрались мы до какой-то деревушки. Посчастливилось отыскать там и довольно сносную гостиницу. Тут бы после ужина и завалиться на перины, да нет, словно какой-то бес вселился в Дон-Жуана.

— Пойдем, — говорит, — Лепорелло, видел я, что неподалеку собираются праздновать чью-то свадьбу,

— Ну и пускай празднуют на здоровье. Вам-то какое дело!

— Э, нет! — отвечает мне мой хозяин. — Раз свадьба, значит, будет на ней и вся деревенская молодежь. И, само собою, хорошенькие девушки, музыка, танцы...

— Тыфу ты пропасть! — отвечаю я довольно сердито. — И как вам не надоест зря тратить драгоценное время? Откуда у вас только прыть берется! Ну вас таким господь бог создал. А я-то, спрашивается, с какой стати всюду за вами обязан таскаться? Вы вон всё время к черту на рога лезете, а я, быть может, уже и о спокойной, хорошей жизни подумываю. Грешить-то тоже в конце концов надоедает...

— Ты что, проповедь собираешься мне читать? Иди-ка лучше да спроси, как зовут вон ту черноволосую красавицу. Ух, какие глаза! Скажи, что приезжий кабальеро восхищен ею с первого взгляда.

Хотел было я от него отмахнуться, да не тут-то было. Так схватился за шпагу, так сверкнул глазами, что у меня язык не повернулся что-нибудь ему возразить. Делать нечего, отправился я на чужую свадьбу. Ну выпил там стаканчика два-три, поболтал кое с кем из гостей и возвращаюсь.

— Вашу красавицу, — докладываю своему хозяину, — зовут Церлиной, и она ближайшая подруга невесты. Говорят, что первая певица и плясунья в деревне.

— Вот и прекрасно! — воскликнул Дон-Жуан.

— Так-то так, да не совсем так, сеньор! Не советую вам впутываться в это дело. У этой Церлины тоже есть жених, и зовут его Мазетто. А он парень и сложения крепкого, и нрава вспыльчивого. Коли дело дойдет до поединка, то ведь тут в деревне шпаг не признают. Посмотрел бы я, как вы станете фехтовать против здоровенной дубины или даже оглобли!

— Молчи, дурак, не твое дело. Вот тебе деньги — всё, что у нас осталось, иди к хозяину гостиницы, скажи ему, что я откупаю у него сегодня помещения и зову в гости всю свадьбу. Угощение на мой счет!

— Да что вы, с ума сошли, ваша милость! Столько денег! И кому, спрашивается: деревенщине серой, которая и плясать-то толком не умеет?

— А мне эта девушка нравится! И я с нею хочу повеселиться. Буду танцевать с Церлиной в первой паре!

Ну что поделаешь с таким сумасшедшим! Пришлось всё сделать по его приказу. И уже народ на двор валит. Музыка начинается. Гляжу: мой Дон-Жуан беседует со своей красоткой, а ее жених Мазетто на это дело довольно косо смотрит. Подхожу опять к Дон-Жуану:

— Ваша милость, насчет ревнивого жениха я вас уже предупреждал. А тут еще новая напасть. Подъехали к гостинице какие-то знатные господа — дама и кабальеро, и оба в масках. И еще какая-то дама в маске. Ох, боюсь, не по нашу ли душу!

— Молчи! — говорит мне в сердцах мой господин. — Я теперь занят одной Церлиной, и для меня ничего другого на свете не существует.

Плюнул я и отошел в сторону. А у Дон-Жуана с хорошенькой крестьянкой уже пошла лукавая беседа.

Ох, видно, в недобрый час задержались мы в этой деревушке! Свадьба, правда, вышла веселая, поместили меня в почетном углу, и стакан мой ни минуты не оставался пустым, а всё же в печенках у меня словно гвоздь сидел. Пока Дон-Жуан соловьем разливался перед своей красавицей, я должен был сыпать шутками да занимать ее жениха, отвлекая его внимание. А он, этот увалень Мазетто, хоть и рад был приятной беседе

с таким образованным человеком, который за словом в карман не лезет, а всё же нет-нет и поглядит в ту сторону, где, как птичка, щебечет с моим Дон-Жуаном его Церлина. И видно по его лицу, что он словно зернышко перца раскусил. Эх, думаю, напоить бы мне его так, чтобы он и с ног долой. Но Мазетто парень крепкий, и начинаю я соображать, как бы мне и самому под стол не свалиться. А у моей влюбленной парочки самый жаркий разговор идет, и только слепому не видно, что попала пташка в силос. Вижу, наклонился к ней Дон-Жуан и шепчет ей что-то на самое ушко. Не иначе как назначает свидание в беседке. А она, представьте себе, лукаво ему в лицо смеется, но «нет» не говорит. Ох эти женщины! Куда спокойнее было бы без них жить на свете. Что бы тогда делал Дон-Жуан, спрашиваю я вас?

Кончился праздник, гости разбрелись кто куда, хотя большинство из них осталось тут же, за столом, мирно похрапывая среди недоеденных блюд и недопитых стаканов. Исчез куда-то и Мазетто. Не понравилось мне, что перед этим шептался с ним о чем-то приезжий кабальеро в маске, тот самый, который приехал в гостиницу с двумя дамами. Э, думаю, что-то здесь не ладно! Уж не собираются ли они... Но тут сон обнял меня так крепко, что я уронил голову на стол и... не помню, что было дальше.

Очнулся я, должно быть, в полночь. Луна стояла высоко, и кругом была тишина, словно в пустой церкви. Поднял голову, огляделся — и вдруг меня что-то в сердце кольнуло: «Эх, Лепорелло, ты здесь спишь, а что в эту минуту делается с твоим господином?» Вскочил я и, осторожно шагая через мертвецки пьяных, выбрался поскорей со двора в сад — и прямо к беседке. Ну, так и есть! Знакомые голоса, влюбленный шепот Дон-Жуана и смех этой лукавой красотки

Церлины. Ну, а дальше произошли самые невероятные вещи.

Только успел Дон-Жуан обнять стан склонившейся к нему красотки, как раздался звук хорошей оплеухи, да такой звонкий, на весь сад. И вы думаете это Церлина? Как бы не так! Перед моим хозяином выросла внезапно гневная фигура Эльвиры, а за нею стояли донна Анна, дочь убитого командора, и ее жених Оттавио. А еще дальше — Мазетто со здоровенной дубиной.

Да, жарким был финал этой сцены! Лучше не представляй и в театре. Хорошо еще, что у меня заранее были припасены две верховые лошади за оградой. Уж не помню, как только мы спаслись! Господина моего чуть не пронзили шпагой, а я оставил в руках у разъяренного Мазетто половину своего нового плаща. Хорошо еще, что луна в это время спряталась за тучу да лошади попались нам свежие.

Надеюсь, сеньор, я не наскучил вам своим рассказом? О, вы опять подливаете мне вина? Благодарю вас! Я, собственно говоря, давно уже не пью, но ради такой приятной компании... Ваше здоровье!

Вам, вероятно, не терпится узнать, что случилось дальше с Дон-Жуаном? Сейчас, сейчас, мой рассказ уже подходит к концу. Увы, всё кончается на свете, даже добрый бочонок вина. Что же после этого говорить о бременной жизни человеческой?..

Недолго мы с моим господином наслаждались отдыхом в деревенской глуши. То ли надоело скитаться ему по горным дорогам, то ли приелась яичница с луком и черствые лепешки, то ли опять дьявол шепнул ему что-либо на ухо, только однажды хлопнул он меня по плечу и говорит со своей всегдашней уемешкой:

— Ну, Лепорелло, собирайся в дорогу!

— Куда же это? — спрашиваю я, несколько встревоженный.

— Как куда? В Севилью!

— Святой Игнатий! В Севилью? Прямо черту в когти? Иль думаете вы, сеньор, что добрые отцы святейшей инквизиции встретят нас там с распростертыми объятиями? Иль вы успели получить от папы отпущение всех грехов?

— Нет, боюсь, что папа еще не удосужился подумывать об этом. Просто тоскую я по родному городу — сил моих больше нет! И кроме того, Лепорелло, скажу тебе по дружбе, хочется мне снова увидеть донну Анну. Не выходит она у меня из головы. Если кого я и любил на свете, то только ее одну. Видишь ли, мой верный Лепорелло, всю жизнь я искал ее, только ее, и чем впопых, что она являлась мне под разными женскими обликами?

— Ничего не понимаю, сеньор! Как это так — любить одну и всю жизнь преследовать каждую встречную красотку. Не влезает это в мою голову. Впрочем, дело ваше, но я вам скажу: не сносить вам головы с такою, прости меня, господи, философией! Случалось слышать мне от старых людей, что порок на этом свете всегда бывает наказан, вопрос только в том, рано или поздно. А вы уж, кажется, давно истощили небесное долготерпенье. По-нашему, попросту говоря, повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить.

— К черту твои пословицы! Не до них мне теперь. Я хочу видеть донну Анну. Анну — звезду мою! Едем в Севилью.

Ну что с таким сумасшедшим будешь делать! Ругаю я сам себя за сговорчивость, а всё же готовлю коней в дальний путь. Через двое суток добрались мы до Севильи,

— Сеньор! — говорю я Дон-Жуану. — Я на вашем месте не торопился бы в город. Кто его знает, как там сейчас отзываются о вашей милости. Боюсь, что не с очень выгодной стороны. Не лучше ли будет нам оставить лошадей вон на этом тихом кладбище да пойти порасспросить кого-либо из монахов, прежде чем шею в петлю совать. Это мы всегда успеем.

— Твоя правда! — отвечает мне Дон-Жуан. — Не терпится мне увидеть скорее мою красавицу, но, пожалуй, лучше всё же быть осторожным.

Вот идем мы по кладбищу, а луна смотрит из-за кипарисов так пристально, так неотвязно, точно это не луна, а кто-то такой, кто состоит на тайной службе у святой нашей матери инквизиции — не дай бог ей долгого здоровья! Господин мой задумчив, печален, да и у меня на душе как-то неладно. Не люблю я кладбищ, да особенно ночью.

Вдруг остановился мой господин перед каким-то памятником. Высится на пьедестале мраморный старик в латах, в шлеме и правой рукой упирается на эфес шпаги. И во всей его фигуре что-то знакомое...

— Стой, Лепорелло, — шепчет мне Дон-Жуан. — Мне кажется, я его узнаю.

— Как не узнать, — отвечаю я тоже шепотом, а у самого душа в пятках. — Да ведь это командор, которого ваша милость имела честь уложить своей шпагой.

Дон-Жуан побледнел, но, однако, справился с собой и твердым шагом подошел к статуе.

— Слушай, Лепорелло, мне пришла в голову отличная мысль... Зови почтенного командора завтра ко мне на ужин!

— Как же так, сеньор, — говорю я хозяину. — Такие слова и в таком месте. Да ведь за это нас с вами...

— Лепорелло! — чуть не кричит он, и брови у него дрогнули — недобрый признак. — Если ты сейчас не исполнишь того, что я тебе говорю, то клянусь мадонной...

Но тут уж я не стал ждать. Семь бед — один ответ! Подхожу вежливо к статуе, снимаю шляпу, а у самого поджилки трясутся и язык во рту заплетается.

— Ваша милость, святейший командор! Мой хозяин... не я, заметьте, боже сохрани, — мой хозяин, Дон-Жуан де Маранья, изволит приглашать вас завтра на ужин. Будьте уверены, ваша светлость, не я буду готовить, не я подавать. Говорю только то, что мне приказано. Я человек маленький, ваша милость, и я в ваши дела не мешаюсь. Не моего ума это дело. Однако, как мне приказано, так я и говорю. Изволите завтра пожаловать?

И тут статуя — клянусь, всё это правда, сеньор, — кивает мне головой.

Что дальше было, я уж не помню. Очнулся я на могильной плите. Дон-Жуан поддерживает меня одной рукой, а другой льет мне в глотку вино из моей же запасной фляжки.

Если вам приходилось когда-нибудь, сеньор, испытывать такое чувство, точно вас сам черт держит за шиворот и толкает туда, куда вам вовсе не хочется идти, вы меня легко поймете. У меня весь день поджилки дрожали, и я мог только удивляться Дон-Жуану, который был шутилив и весел, как всегда, и бродил по улицам Севильи как ни в чем не бывало. Он словно и позабыл, что случилось с нами на кладбище. Да и на встречных алыгвазилов не обращал никакого внимания, а ведь за нами, наверно, по пятам ходили шпионы его святейшества. Нас могли схватить на каждом углу, и если этого не случилось, то, видно, только потому, что господин мой родился под счастли-

вой звездой. Скоро Дон-Жуан ушел в игорный дом, а меня оставил в ближайшем трактире, строго наказав не отлучаться ни на час. Я не скучал, конечно, выбрав себе в собеседницы пузатую бутылку аликанте. Но время всё же тянулось томительно. Наконец является мой хозяин, и по его лицу я вижу, что фортуна была к нему в этот вечер благосклонной.

— Эй, Лепорелло! — весело крикнул он мне еще с порога. — Вот деньги! — И бросил на стол кошелёк, полный дукатов. — Сейчас же отправляйся в дом, который я нанял у фонтана святой Терезы. Ты узнаешь его по серебряной подкове над входом. Затопи камин — сегодня сырой вечер! — и приготовь лучший ужин, какой только можно найти в Севилье. И поставь два... нет, лучше три прибора. Понял ли ты меня?

— Что ж тут понимать, сеньор? Видно, снова принялись вы за старые проказы, будь они трижды прокляты! Не стану с вами спорить, и всё будет приготовлено как нужно. Не в первый раз приходится заниматься такими греховными делами — святая Цецилия, спаси мою душу! Но, осмелюсь спросить, сеньор, если речь идет о тайном свидании с дамой, то к чему вам третий прибор на столе?

— А ты не забыл, кого я пригласил сегодня разделить со мной полночную трапезу?

Холод пробежал у меня по спине.

— Не извольте, сударь, шутить такими словами!

— А я не шучу, Лепорелло! — отвечал мне, усмехнувшись, Дон-Жуан. — Ну, живо, живо! Я буду следом за тобой. Мне нужно только зайти к садовнику за свежими розами для моей красавицы.

Я пустился со всех ног и без труда отыскал указанный мне дом. Работа закипела, и через час, когда вернулся мой хозяин, всё уже было готово. Камин пылал, вино было налито в бокалы, свечи горели на круглом

столе посередине комнаты. Тяжелая ваза с фруктами возвышалась среди них.

Дон-Жуан в нетерпении ходил из угла в угол, а стрелка уже показывала двенадцатый час ночи. Наконец послышался осторожный стук в дверь. Опережая меня, Дон-Жуан бросился к порогу и остоленел от изумления. Перед ним, вся в черном, стояла... нет, не донна Анна, а Эльвира, с бледным, как мел, лицом, с пылающими глазами. Она протянула свои бледные руки и произнесла голосом, полным отчаяния:

— Я пришла в последний раз, Дон-Жуан, чтобы спасти вашу душу!

Я думал, что Дон-Жуан тотчас грянется об пол. Ничуть не бывало! Подскочил он к красавице, поцеловал ее руки и ведет к столу, не обращая внимания на ее сопротивление.

— Я готов говорить о своей душе, донна Эльвира, но только здесь, за стаканом доброго вина. Я вижу ее спасение только в ваших прекрасных глазах, в вашей нежной улыбке!

Ну и человек! Какой дьявол в нем сидит — не понимаю. Минуты не прошло, как донна Эльвира стала самой покорной овечкой. Куда девались все ее душе-спасительные речи! И уже чокнулась она с Дон-Жуаном, хотя у самой слезы на глазах блестят.

Я уж подумывал, не пора ли мне удалиться, как вдруг раздается резкий, отрывистый стук в дверь.

Сердце у меня ушло в самые пятки. Вскочил и Дон-Жуан, забыв о своей красавице.

— Лепорелло, открой, — кричит он, а сам тоже бледен, как мука.

— Как бы не так, ваша милость! Мое дело здесь сторона. Открывайте сами, коль хотите.

Дон-Жуан выругался и рванулся к двери. Распахнул ее настежь и застыл на месте, не в силах вымолвить

ни слова. На пороге, закутанная в мантилью, стояла...
донна Анна.

Что там дальше было, я пересказать вам совершенно не в силах. Прошу меня уволить, сеньор. Когда две испанки стоят друг против друга, а между ними внезапно раскрывшаяся любовная тайна — это, вероятно, похоже на грозу в тесном ущелье. Как видите, в этом месте рассказа и я ничего не могу поделать без помощи поэзии, хотя обычно мне она, как ослу третье ухо...

Надо ли добавлять, сеньор, что в ту же ночь от нас и духу не было в Севилье.

Я успел только догадаться, что неплохо будет рассказать в ближайшем же кабачке случайным собутыльникам историю о том, как безбожный Дон-Жуан пригласил ночью на кладбище статую командора отужинать у него запросто, по-приятельски, и как мраморный командор в самом деле явился на этот ужин и уволок моего хозяина в преисподнюю.

Дон-Жуан сам потом первый смеялся над этой выдумкой и, хлопнув меня по плечу, подарил мне мешочек звонких дукатов.

— Ах, Лепорелло! Твоя глупость спасла меня — на этот раз на века!

Вот, сударь, и конец необычайной и страшной истории о бывшем моем господине Дон-Жуане де Маранья.

Про его безвестное исчезновение по всей Испании и сейчас ходят легенды. Может быть, и вы слышали что-нибудь из них? Монахи, дабы не вводить умы людские в досужие домыслы и опасные соблазны, сочинили историю о том, что после убийства командора раскаявшийся, мучимый совестью Дон-Жуан постучался в дверь одного из монастырей и кончил свою жизнь смиренным отшельником в черной рлсе, замаливая

свои бесчисленные прегрешения. Но вы не верьте им, сеньор. Дело было именно так, как я рассказал вам. Мы с моим хозяином добрались наконец до его батюшки и там, в горной деревушке, прожили около года, развлекаясь охотой, игрой в кости да соблазнительными воспоминаниями. А потом Дон-Жуан, не выдержав мирной жизни, отправился в Кадикс и там под чужим именем сел на корабль, чтобы отплыть в Новый Свет. Что с ним дальше случилось, одному богу известно. Я же благополучно вернулся к себе на родину. Частенько приходилось слышать мне рассказы о своем господине и о его страшном конце в разверстой пасти ада. Но я молчал и не вступал в споры. Если этого и не было, то так должно было случиться. Если кому-нибудь придет в голову рассказать людям эту поучительную историю, он непременно должен позаботиться о том, чтобы торжествующий в начале порок непременно был повержен в последнем акте в преисподнюю в дыме, грохоте и пламени. Иначе честным и мирным людям на земле житья не будет от соблазнитель в черных масках, ночных серенад и дерзостных поединков на шпагах.

А теперь, мой уважаемый сеньор, забудьте о том, что вам сейчас рассказывал Лепорелло. Перед вами хозяин этой гостиницы, почтенный Пабло Сезаре, который поднимает последний стакан вина и желает вам благополучия на этой беспескойной земле!



ЛЕДЯНАЯ ДЕВА

Северная легенда

— У, какой ветер! Какой ветер! Будь он чуточку сильнее, покатались бы мы с вами, как камни, в эту темную пропасть. Слышите, как шумит море? Оно совсем сошло с ума. Мне даже кажется, что наши старые норвежские скалы вздрагивают с головы до пят при каждом его ударе. Смотрите, чайки носятся низко, срезая крыльями брызги и пену. Ох, быть буре, большой буре!

Разве рискнул бы я сегодня повести вас в горы, стать вашим проводником, если бы мне, старому жителю побережья, не были известны все тропки и скалы родных фиордов? Дайте мне руку, господин музыкант! Вот так. Ставьте ногу на этот камень, хватайтесь вон за ту сосновую ветку. Еще, еще одно усилие! Ну вот мы и в пещере. Здесь нас уже не тронет никакой ветер. Сейчас я разведу костер — помогите мне собрать сухого вереска и сосновых шишек. Садитесь сюда поближе. Видите, как стало светло, тепло и уютно? Костер разгорается, и наши тени пляшут по стенам пещеры, как сказочные тролли, обитатели диких лесов и высоких скал. Пусть себе снаружи воеет буря, нам никто не мешает спокойно продолжать беседу. Я обещал рассказать о Ледяной Деве? Да, да, я расскажу вам эту историю, вот только дайте мне раскурить мою упрямую трубку.

Ну вот, слушайте! Это случилось в далекие-далекие времена вот в этих самых местах, на старой норвежской земле.

Вон там, глубоко внизу, на самой дальней извилине Тронхеймфиорда, стояла когда-то маленькая, покосившаяся от старости избушка. Жила в ней старуха Озе. За долгую свою жизнь потеряла она всех своих близких — мужа, детей, и остался у нее только младший сын, девятнадцатилетний Эйнар. Парень он был крепкий, голубоглазый, со светлыми волосами, и в деревне считался работником не из последних. Но была у него в характере одна странность — работает над чем-нибудь, плетет сети или налаживает пилу, и вдруг задумается бог весть о чем и уже больше ничего не замечает вокруг. Смотрит куда-то невидящими глазами, а на губах мечтательная улыбка...

— Что с тобой? — спросит его мать,

— Да ничего, матушка, — встрякнется Эйнар. — Это я так, задумался немного. Вот видишь то облако?

— Ну, вижу. Облако как облако.

— Нет, матушка, это не простое облако. Смотри, оно всё как тонконогий серебряный олень с большими ветвистыми рогами. И несется этот олень высоко над землей, видит под собою всю нашу страну — ее леса, озера, дикие фиорды. Как бы я хотел лететь вместе с ним, там, высоко-высоко...

А то пойдет Эйнар в лес на охоту — и нет его день, два. Наконец возвращается усталый, голодный, исхудавший, а глаза горят, словно звезды.

— Где ты был, Эйнар?

— Далеко, матушка, далеко. Отсюда не видно. Шел я по лосиным и медвежьим тропам и добрался до удивительного озера. Там на самом дне колышется хрустальный дворец, а из окон его выплывают серебряные рыбы и стоят недвижно, шевеля лазурными плавниками. И у каждой на голове золотая корона. Это дочери Озерного царя. А сам царь, огромный и сизый, лежит, зарывшись в тине, и шевелит длинными усами. Звал он меня к себе жить, обещал горы камней самоцветных, но мне стало жалко тебя, матушка, страшно черных глубин, и я бежал без оглядки от этого озера по лесным чащам и болотам.

— Какой ты выдумщик, Эйнар! — скажет ему старая Озе. — И ничего этого не было. Всё это ты сочинил, чтобы меня позабавить.

А он только усмехнется в ответ.

Вот однажды — дело было глубокой зимою — сидели мать с сыном в своей избушке у печки, прислушивались к потрескиванию сосновых поленьев. Старая Озе была занята пряжей, а Эйнар строгал новое топорище и не спускал глаз с тлеющих угольков. Оба молчали. А вьюга выла снаружи на разные голоса, поднимая до

неба снежную пыль, и казалось, что она просит, умоляет пустить ее в дом, и рыдает, и плачет от бессильной досады у запертых ворот.

— Матушка, — поднял вдруг голову Эйнар. — А ты знаешь, кто там плачет и стонет за окном? Это не вьюга. Это Ледяная Дева. Вот видишь, как развевается ее серебряное легкое платье, как машет она широким рукавом, как стелется она по самой земле. Смотри, вот прильнула к нашему окошку. Смотрит на меня не отрываясь. У нее глаза как синий лед. Мне страшно... Чего ей нужно от меня? Зачем она здесь?..

— Что ты, Эйнар! Про Ледяную Деву рассказывают только в сказках. Это ветер с моря ворвался в наши фьорды, это он крутит снег на лесных полянах, ищет себе пристанище на обнаженных скалах.

Но Эйнар ничего не сказал в ответ и только глубже ушел в свои думы.

Задумалась и старая Озе. Тревога сжимала ее сердце. Как сделать, чтобы Эйнар спустился из своих заоблачных мечтаний на землю, стал простым и веселым парнем, как и все его однолетки? А то он неделями и слова не скажет, и на деревенские вечеринки ходить не любит, и песен не поет никогда. Соседи давали ей добрые советы: надо женить сына, пусть обзаведется он своей избушкой, живет в ней с выбранной по сердцу женою, работает на своем поле, растит детей. И тогда придет к нему простое человеческое счастье.

Старая Озе чувствовала, что они говорят правду. Она уж и невесту подыскала для сына — хорошую девушку Ингрид из ближнего селения. Всем было известно, что Ингрид давно уже встречала Эйнара приветливой улыбкой. Да и Эйнар внимательнее глядел на Ингрид, чем на других девушек, и на любом морозе

снимал перед нею шапку. «В добрый час!» — решила Озе и велела сыну в ближайшее воскресенье закладывать санки, чтобы ехать на смотрины невесты, — таков деревенский обычай. Помолвки в старину праздновали торжественно, и о них заранее все знали в округе.

На закате зимнего дня собрались в дом родителей Ингрид все родственники и друзья. В большом сарае очистили место для танцев, стены украсили свежими еловыми и сосновыми ветками, подвесили к потолку большие фонари. Сообща всей деревней наварили на одну бочку янтарного пенистого пива, напекли пирогов с грибами и брусникой. Девушки явились в лучших своих нарядах, алых, как вечерняя заря. Парни надели широчайшие штаны и столько нашили на свои жилеты блестящих пуговиц, что на них больно было смотреть. Скрип новых башмаков был слышен за целую версту. Старики в вязаных колпаках и старухи в белоснежных чепцах, величиною с целый дом, припелись спозаранку, опираясь на можжевельниковые палки. Перед воротами запалили два огромных костра, искры которых летели в самое небо.

Когда прибежали мальчишки и с радостным визгом сообщили, что показались сани жениха, отец Ингрид взял дочку за руку и в сопровождении почетных гостей и ближайших родственников двинулся ему навстречу. Затрещали приветственные выстрелы, музыканты грянули торжественный марш.

Эйнар шел навстречу Ингрид, а она смотрела на него, и глаза ее сияли. Они взялись за руки, и тотчас же вновь затрещали выстрелы, костры подняли целый сноп искр, широко распахнулись двери праздничного сарая, а деревенские скрипки и флейты закружили гостей в свадебном танце. Разлеглись по ветру юбки и ленты, от топота башмаков заходили ходуном поло-

вицы. Эйнар и Ингрид шли впереди, и всем казалось, что никогда еще не было видано такой красивой пары на свете.

Надолго затянулось веселье, и, когда сели за стол, луна стояла уже высоко. Одно праздничное яство сменяло другое, в дубовых бочках пенилось пиво, щеки девушек пылали ярче лепестков мака, парни с песнями сдвигали тяжелые кружки. Наступил час мужчинам закурить трубки, женщинам повертеться перед зеркалом, приводя в порядок косынки и ленты перед торжественным последним танцем. Эйнар с приятелями вышел на тихий заснеженный двор. Лунный свет ударил им в лицо, от мороза захватило дыхание. Покурили, поиграли в снежки, и, когда возвращались обратно, Эйнар задержался на пороге. Ему нравилось в полной тишине стоять и смотреть, как поблескивает снег.

Он и сам не заметил, как рядом с ним очутилась высокая и красивая девушка с тяжелыми светлыми косами, уложенными венчиком на голове. Он смотрел на нее с изумлением. Ее не было на празднике, он никогда не встречал ее раньше, и все же он ее видел когда-то. У нее были иссиня-светлые, словно остывшие глаза, и взгляд их уколол ему сердце, как тонкая ледяная игла. Девушка коснулась пальцами его руки и прошептала над самым ухом:

— Пойдем посмотрим, как горят звезды!

Эйнар хотел выдернуть руку, но она засмеялась ему в лицо и побежала по узкой тропинке. Ноги сампонесли Эйнара за нею. Он догнал ее уже за воротами, в безмолвном поле, залитом бледным светом. Ему хотелось рассердиться, крикнуть ей, что он не любит таких шуток, что у него нет никакого желания замерзнуть на этой голой равнине, но она умоляюще поглядела на него: «Вон только туда, до той опушки!» — и побежала

дальше. Эйнар следовал за ней, не понимая, какая сила мешает ему повернуть обратно.

Теперь они стояли на лесной полянке, и тяжелые лапы елок, сгибаясь под тяжестью пушистого снега, свешивались над ними, как шатер.

— Кто ты такая? — спросил Эйнар, запыхавшись от быстрого бега.

А она склонилась к нему и прошептала, поблескивая голубыми, как льдинки, глазами:

— Я — Ледяная Дева. Я пришла за тобой!

Он отшатнулся в страхе, но ее рука крепко держала его руку. Холодные губы коснулись его лба. Снова ледяная иглолка уколола его в сердце.

Бедный Эйнар! Он и не знал, что от каждого такого укола сердце человеческое превращается в лед и теряет память. И он уже забыл о том, где он и что с ним. Он видел только Ледяную Деву, ее голубые, полные лунного света глаза, а она улыбалась ему, и они шли куда-то всё дальше и дальше по глубоким сугробам, в глубину темного безмолвного леса.

Вот и небольшая полянка среди тесно сдвинувшихся сосен. И посредине ее, разливая голубоватый трепещущий свет, стоит высокий серебряный олень. Мускулистые ноги его ушли в пушистый сугроб, рога, как могучие ветки сосны, широко раскинулись в стороны, глаза смотрят умно и покорно. Он склонил тонкие колени. Эйнар и его спутница сели боком на его спину.

— Держись крепче за рога! — шепнула Ледяная Дева, и у Эйнара замерло дыхание.

Он почувствовал, как олень ринулся в безумный полет. Обжигающий холодом ветер запел в ушах. Земли не было видно. Они неслись по воздуху, выше леса, чуть пониже туч, то там, то тут прорываемых лунными лучами.

— Куда мы летим? — в невольном страхе прошептал Эйнар.

— Далеко-далеко! В неведомые лесные чащи. В страну безвестных озер. Во владения моего отца, короля вьюг, туманов и ледяных утесов.

— Я не хочу,пусти меня! — крикнул Эйнар, но Ледяная Дева, склоняясь к нему, коснулась губами его лба. И еще один кусочек его сердца превратился в лед.

А они всё неслись и неслись в захватывающем дух полете — и вновь слышал Эйнар над своим ухом вкрадчивый голос. И казалось ему тогда, что это воет и поет вьюга.

— Не бойся, не бойся, Эйнар! Я унесу тебя в волшебное царство. Чертоги из хрусталия воздвигнуты там. Лунный свет дробится в их изломах. Алмазы чистейшего льда рассыпаны по дорожкам, и длинные прозрачные сосульки свисают со сводов, как подвески пламенных люстр. Сюда никогда не заглядывает солнце, не доносится шум жизни. Тихое спелое безмолвие окружает мой дворец. Это страна ледяных безлюдных высей и немеркнущих северных сияний. Там будем жить мы с тобою — и ты забудешь обо всем, что осталось на земле.

Могуществен мой край, несметны богатства моего отца. Подземные пещеры ведут в его безграничные владения. Смотри! Сейчас мы низко летим над землей. Луна заливает глубокие пушистые поляны. Прислушайся, и ты услышишь то, что недоступно людскому слуху. День и ночь кирки и молоты гномов дробят драгоценные недра земли. Тайная непрекращающаяся работа маленьких рудокопов идет там, в пещерах Горного короля.

А серебряный олень мчался всё дальше и дальше, одним прыжком перелетая через горные кряжи и

заснеженные озера. Наконец он замедлил свой бег и как вкопанный остановился перед трещиной, расколовшей огромный ледяной утес. Бока его тяжело вздымались, капельки пота мутными жемчужинами застыли на серебряной шерсти.

— Вот мы и дома! — сказала Ледяная Дева. — Идем, ты сейчас увидишь дворец моего отца.

И она взяла за руку Эйнара. Он покорно последовал за ней. Он забыл уже обо всем, что раньше было с ним на свете. Сердце его стало совсем ледяным...

Праздничное пиршество в доме родителей Ингрид подходило уже к концу, когда кто-то заметил отсутствие жениха. Тревога охватила гостей. Его искали и нигде не могли найти. Звали по всему дому, выбегали на двор. Несколько парней вышли за околицу, в чистое поле, и тут, на свежепротоптанной тропинке, обрывавшейся у высокого сугроба, увидели они примятый снег и оттиск копыт какого-то неведомого зверя. Во все стороны разбегались волчьи следы. Вот и всё, что можно было найти на безмолвной снежной поляне, заливной зеленоватым лунным сиянием.

Грустно окончился праздник. Гости разъезжались домой молча. В те времена народ был суеверен, и то, что существуют какие-то страшные, невиданные чудовища, никого не удивляло.

Старая Озе была убита горем. Она молча прижала к груди плачущую Ингрид. Девушка, собрав последние силы, проводила ее домой.

Грустно текли дни в избушке дряхлой матери Эйнара. Одна сидела она теперь за пряжей, одна разводила в печурке огонь, и на дубовом обеденном столе

тарелка ее сына стояла всегда пустая. Сначала она ждала, что он скоро вернется, но его всё не было, и никто не мог сказать, живет ли он еще на свете...

Горестные думы одолевали бедную Озе. Она любила Эйнара так, как только мать может любить сына. Она прощала ему все его странности, его вечную погоню за несбыточными мечтами. Ей хотелось только одного — чтобы он скорее пришел домой. А дни шли за днями, и в одинокой, занесенной сугробами избушке было пусто.

Однажды — это было под вечер ясного морозного дня, когда солнце заката делало розовым снега, а от сосен ложились длинные голубоватые тени, — в двери тихо постучали. На пороге стояла Ингрид в легкой оленьей шубке, осыпанной снежной пылью.

— Матушка Озе, — сказала она. — Сегодня я не могла усидеть дома. Я пришла поговорить с тобою. Я люблю Эйнара, и сердце мое не верит, что он погиб. Что-то говорит мне, что он жив, что он где-то совсем недалеко от нас и, быть может, ему угрожает страшная опасность. Матушка Озе, дай мне быстрые охотничьи лыжи Эйнара. Я пойду искать его...

— Что ты, Ингрид! Куда ты пойдешь? Наши парни обыскали весь лес, и всё было напрасно. Смотри, уже скоро ночь! Как ты одна отправишься в такой далекий путь?

— Матушка Озе! Душа моя не знает покоя... Дай мне лыжи Эйнара!

Озе порывисто обняла Ингрид и засуегилась, собирая ее в дорогу. Она уже больше не отговаривала девушку, потому что и самой ей хотелось верить, что Эйнар жив, что любящее сердце не может не найти того, кого ищет. Она вышла за ворота проводить гостью. Ингрид стала на лыжи и умелыми, точными

толчками заскользила по хрупкому насту всё дальше и дальше в синий сумрак снежной равнины.

Солнце давно уже село, когда она достигла леса и вошла под его темные своды. Огромная оранжевая луна низко висела в просвете ветвей. Всё было тихо. Только похрустывали сучки от мороза да мягко шелестели лыжи. Белка, перелетая с дерева на дерево, роняла порою легкий ком снега. Где-то ухнула сова. Протяжный волчий вой, то нарастая, то ослабевая, откликнулся за дальним озером. Ингрид даже показалось, что меж стволами мелькнули два-три злых огонька. Ей стало страшно. Колючие ветки хлестали ее по лицу, валенки были полны снега. Но она всё шла и шла вперед. Давно уже нет никаких тропинок, тьма всё гуще. Кто это вздохнул вон за той сосной? Кто коснулся ее щеки колючим прикосновением? Неужели это тролли, таинственные обитатели леса, пытаются сбить ее с пути? Нет, нет, она все-таки пойдет дальше, как бы ни замирало сердце, как бы ни отказывались служить усталые ноги. Еще одно, последнее усилие, и лыжи вынесли Ингрид на берег маленького круглого озера, со всех сторон окруженного гранитными скалами.

Ингрид остановилась и перевела дыхание. Тихо и сумрачно было кругом, но что-то говорило ей, что Эйнар, если он только жив, где-то здесь, неподалеку. Но как найти его, как дать знать о себе?

И, воткнув в снег лыжные палки, Ингрид протянула вперед свои маленькие руки в красных рукавчиках. Она протянула их в порыве призыва, тоски и занеда.

Ингрид пела о том, как тоскует ее душа, как сердце летит навстречу Эйнару, как не верит она в его гибель. Нет! Нет! Он жив. Он не может не откликнуться на голос ее любви.

И Эйнар услышал эту песню. В глубоких подземных пещерах он услышал ее. Сначала он не понял ничего, — ведь у него была отнята память. Он поднял голову и прислушался. Лицо его было спокойно и бесстрастно. И вдруг что-то теплое пробежало по его груди. Это упала из глаз неожиданная слеза и растопила, согрела кусочек ледяного сердца. Вот скатилась другая слеза, потом еще и еще. Ингрид пела, и каждый звук ее песни согревал, оттаивал ему душу. Когда замер далекий голос Ингрид, живое, человеческое сердце, освобожденное от ледяной коры, бешеной радостью заметалось в груди Эйнара. Он вспомнил всё: и родную избушку на берегах фьорда, и матушку Озе, и девушку с голубыми, как море, глазами.

— Ингрид! Ингрид! — воскликнул он и ринулся к выходу. Кто мог бы, кто посмел бы остановить сейчас его, бегущего навстречу жизни! Со скалы на скалу, с уступа на уступ прыгал Эйнар вниз, к маленькому озеру, туда, где на берегу стояла в серебристой шубке Ингрид и протягивала ему руки в красных рукавичках.

Они побежали друг другу навстречу.

— Ты жив, Эйнар? Ты жив? — задыхающимся от счастья голосом прошептала Ингрид, прижимаясь к его груди...

— Меня вернула к жизни твоя любовь! — отвечал Эйнар.

А потом они рука об руку пошли скорее из этого темного леса. Узловатые корни, словно руки чудовищ, заступали им дорогу, лесные тролли хлестали ветками их плечи, волчьи огни, не отставая, скользили то справа, то слева. Но Эйнар мужественно пробирался сквозь чащу, увлекая за собой подругу. На опушке их встретил лунный свет и волнистый простор снежной равнины. Но не успели они сделать и нескольких шагов,

проваливаясь в глубоком снегу, как зашелестел, загудел внезапно поднявшийся ветер. Вьюга закружилась, поднимая колючую снежную пыль, земля и небо смешались в непроглядном тумане, хлопья крупного снега полетели навстречу, больно обжигая лицо. Эйнар, обхватив рукою Ингрид, преодолевая снежный ураган, шагал всё вперед и вперед. В бешеном свисте и вое он слышал голос разгневанной Ледяной Девы. Бились и клубились в воздухе ее легкие одежды. А он шел, разрывая их руками, шел всё вперед и вперед.

Изнемогая от усталости, Эйнар и Ингрид подвигались на высокий холм, и тут, сквозь сумрак и вьюгу, сверкнул им издалека огонек родной избушки.

И тотчас, как по волшебству, улеглась бушевавшая вьюга, с жалобным, умирающим визгом уползая по земле. Хлынувший лунный свет широко и спокойно залил всю равнину. Стали отчетливо видны и знакомые с детства сосны, и покосившаяся бревенчатая избушка под ними.

Собрав последние силы, Эйнар поднял на руки слабеющую Ингрид и понес ее по тропке, прижимая к горячему сердцу. На пороге стояла старая матушка Озе в белом чепце и, не веря своим глазам, улыбалась сквозь неуменно бегущие слезы...

* * *

— Что же такое вы записываете, господин музыкант? Я ничего не понимаю в ваших линеечках и крючочках. Это музыка, говорите вы? Но ведь я рассказал вам совсем простую историю, которую здесь знают в каждой избушке. И, смею уверить вас, каждая девушка в наших краях похожа на Ингрид. А что касается музыки, то у нас ее хватает с избытком, особенно в такое злое зимнее время. Слышите, как воет,

как мечется вьюга, как кружит она, заматавая все горные щели? Поневоле скажешь, что это беснуется Ледяная Дева.

Но нам-то с вами до нее какое дело? С вашего позволения я немного отхлебну из этой фляжки, и мы двинемся дальше.

Эх, жаль, совсем погасла моя трубка, а на таком ветру разве ее разожжешь? Не попросить ли мне у троллей их подземного уголька? Нет, лучше уж подождать до ближайшего селения...



КИНАРИС ПУШКИНА

Мой приятель, побывавший в Крыму сразу же после занятия его советскими войсками, пишет о том, что увидел он в Гурзуфе:

«Дом, где жил Пушкин, разграблен. В комнатах музея следы вражеского постоя, наспех брошенные вещи, на паркете следы костра. Жилье не чище конюшни. И на огонь этого костра пошел тот кипарис, к которому Пушкин каждый вечер ходил на свиданье, как к другу. Низкий пенек его стоит у двери, и только

пушкинские слова на разбитом мраморе доски свидетельствуют о том, что кипарис этот мы сберегали долее ста лет...»

Я читал эти строки со смутным чувством: грустно мне было и в то же время не мог я удержаться от улыбки. Мне вспомнилась последняя встреча с пушкинским кипарисом и белым домиком Раевских.

Это было уже давно, в ту счастливую пору юности, когда для счастья нужны были рюкзак за спиной, стаканчик кисловатого, освежающего вина, круглая пухлая лепешка и кисть черного винограда, которые можно было получить у каждого жителя. В прохладный октябрьский день, такой хрустальный, что казалось, вот-вот он может разбиться от резко сказанного слова или неосторожного движения, я поднялся узкой тропинкой к двухэтажному домику в кипарисах и зарослях олеандровых кустов. Там шумно топталась какая-то экскурсия, предводимая объяснителем, и мне стало жалко тишины, окружающей обычно пушкинское жилище. Я спустился ниже, в одну из парковых дорожек, и там, в полном одиночестве, присел на сухих корнях земляничного дерева. Прямо передо мной сбегала к морю небольшая каменная лестница — десяток полустертых, мшистых ступенек. Узкие, лимонного цвета листики мимозы лежали на ней. То там, то здесь в просветах деревьев свежела густо налитая осенняя синева.

Это напомнило мне северную царскосельскую осень, сквозные распахнутые парки, дорожки, усеянные багряным и желтым кленовым листом, чистые до дна пруды, уже отяжелевшие от первых холодов. Я смотрел на эти покосившиеся каменные ступени, врытые в землю с бог весть каких времен...

Да, несомненно, вот тут, единственной дорожкой к морю, сбегал он, курчавый, загорелый, в белой

рубашке, с полотенцем на плече, когда все еще спали в доме с опущенными занавесками. Не прогретые солнцем камешки приятно охладили его босые ноги. Юркий и стремительный, сбрасывал он на берегу одежду и, по-мальчишески разбежавшись, бухал в зеленую, зыбкую, упругую влагу, и пел, и кричал при этом, и сыпал брызгами, и зарывался в пену, и вновь, отфыркиваясь, вылетал к небу и солнцу, проворный и неутомимый, как дельфин. А потом долго лежал на берегу, закинув под голову руки, и мысли его были так же легки и свободны, как эти снежные, пронесившиеся над ним волокна. А если и жила где-то в груди тайная точка острой печали, то и она расплывалась ощущением чудесной крылатой беззаботности и легкого виноградного похмелья.

Потом со вздохом сожаления вставал он, одевался и медленно шел в гору, задерживаясь у виноградника, срывая по ягодке, напевая, подсвистывая птицам. Быть может, это и называлось счастьем?

Не тут ли, на крутой дорожке сада, в такое же розовое утро увидел он в просвете листвы сверкающее девическое тело? Она, его тайная очаровательница, стояла по колена в волне, подобно белому гибкому стеблю, вырастающему из пены и лазури. Прохладные капельки жемчуга дрожали на ее легком оголенном плече...

...Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре я видел Нериду.
Скрытый меж деревьев, едва я смел дохнуть...

И это внезапное видение купающейся девушки, в которую он тайно был влюблен, чувством невыразимой свежести и восторга заливало всё его существо. И ему грустно было думать, что сам он так некрасив, застенчив, неловок, что рядом с ее снежной наивной

чистотой живет в его душе темное воспоминание коварных петербургских лаис и цирцей, даривших ему недорого стоящие восторги...

...Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду,
На утренней заре...

Да, несомненно, он поднимался по этим ступенькам к белому, полному юного смеха и веселья дому, еще пронизанный солнцем, ветром и морем, возился и шутил вместе с молодыми Раевскими, ездил верхом к утесам Аю-Дага или на водопад Учан-Су и только глубокой ночью, когда в ослепительный лунный мел дорожек врезаны тени молчаливой аллеи, тайком пробирался к старому мудрому кипарису, чтобы поведать ему свои самые тайные печали. Он видел этот кипарис из окна своей комнаты, он любил всегда ощущать его близкое соседство, встречать первый розовый луч утра на его густой, легко вознесенной вершине...

Так думал я, возвращаясь к домику Раевских, где мне хотелось повидать своего давнего ленинградского приятеля, одного из работников музея. Экскурсия из санатория только что окончила осмотр и спускалась пологими тропинками к Гурзуфу. Теперь никто не мог помешать нашей беседе.

Мы пили чай в маленькой комнате, где на столе, на темно-синей скатерти, были рассыпаны словно литые из бронзы груши и темные грозди сладко пахнущей «изабеллы». Пчелы недовольно жужжали над нами. Ветерок приносил снизу, из сада, душное дыхание магнолий.

— Посмотрите, что случилось с бедным кипарисом, — сказал я, глядя на дерево Пушкина. — Сколько здесь проходит посетителей, и каждый считает своим долгом сорвать веточку на память — чтобы потом равнодушно бросить ее где-нибудь на дорожке или у

гурауфской пристани. У него такой жалкий, ошипанный вид. Удивительно, что он еще живет и дышит.

Прияель посмотрел на меня и улыбнулся.

— Не жалейте его! — сказал он лукаво. — Я открою вам профессиональную тайну: это дерево — неизбежная очередная жертва. Оно отвечает за чужую славу. Настоящий пушкинский кипарис в стороне, у другого угла дома. Мы перевесили сюда мемориальную досочку, чтобы оградить его от непрошенных поклонников.

И он указал мне на свежее могучее дерево, скромно затерявшееся среди других молчаливых и строгих собратьев...

Вот что вспомнил я, когда узнал о том, что разграблен домик Раевских и срублен пушкинский кипарис. Фашисты несомненно руководствовались указательной надписью, если только была у них необходимость ее прочесть. И мне почему-то кажется, что истинный друг Пушкина всё так же безмолвно и гордо тянет к сияющему крымскому небу свое легкое окрыленное тело.

Он видел живую улыбку поэта. Он достоин бессмертия.



ТРИГОРСКОЕ

Анна Николаевна Вульф, девушка с круглым, чисто русским лицом, с карими, несколько мечтательными глазами, сидела у окна, выходящего в пюньский сад. Забытый томик Ричардсона лежал на ее коленях. Пальцы перебирали полураспушенную косу, перекинутую через левое плечо. Ветки цветущей липы заглядывали в комнату, бросали легкую прозрачную тень на половицы.

— Аннет,— позвал из сада чей-то ласково-приглушенный голос. Девушка вздрогнула, выпрямилась, торопливо запахивая домашний халатик. Прямо перед ней в раме окна выросла курчавая, слегка рыжеватая от солнца голова.

— Пушкин! Как вы меня испугали... Как это я не услышала вашего прихода!

Но Пушкин уже подтянулся на руках к подоконнику и одним прыжком очутился в комнате.

— Вот и я, прелестная мечтательница! Утро было прекрасное, я взял палку и, даже не надев шляпы, отправился в Тригорское. Я положительно скучаю без вашего дома. А кроме того, сегодня вы мне снились...

— Я? — удивленно, не без кокетства протянула Анна Николаевна.

— Что же в этом удивительного? Ведь я вам снился тоже. Не отпирайтесь, дорогая тригорская отшельница. Поэту полагается быть великим сердцеведом.

Анна Николаевна надула губки и сердито отвернулась — нельзя было понять, лукавит она или сердится на самом деле. Пушкин с подчеркнутой церемонностью поднес к губам ее пухлую, бессильно упавшую на подлокотник кресла руку.

В эту минуту с шумом, треском, грохотом, пахнув ветром прошуршавшего платья, в комнату влетело еще одно женское существо — розовое, смеющееся, в разметавшихся по плечам белокурых локонах.

— Пушкин, Пушкин! — зазвенело оно, наполняя молодостью и восторгом тихую светелку, и тоненькие загорелые девческие руки цепко схватили Александра Сергеевича за рукав. — Теперь вы наш! На весь день. Идемте играть в горелки!

Это была младшая из сестер, суший бесенок по характеру, четырнадцатилетняя Евпраксия, которую в семье почему-то называли Зпной или Зизи.

— Зизи! Как не стыдно! — недовольно протянула Анна Николаевна. — Месье Пушкин не успел еще двух слов сказать, а ты уже тянешь его на какие-то шалости!..

— И вовсе не шалости, а горелки! Идемте, идемте, Пушкин! Там в саду брат Алексей, ваш приятель Языков, поповна из Воронича, два-три соседа — ужасно весело. А кроме того, вы еще прошлый раз обещали мне вальс...

Пушкин, не ожидая вторичного приглашения, подхватил Зину за талию, и они закружились по комнате. Анна Николаевна подняла упавшую на пол книгу и сердито захлопнула ее. Оба танцора остановились, запылавшись.

— Я не понимаю, Зизи! — лукаво заметил Пушкин. — Вы стали еще тоньше с прошлого воскресенья. У меня такое чувство, точно я танцую с осой. Неужели и вас, повинувшись тиранству моды, затащили в «рюмочку»?

— Что касается «рюмочки», то пусть в нее затачиваются другие! — насмешливо покосилась Евпраксия в сторону старшей сестры.

— Нет, в самом деле! — продолжал Пушкин. — Я в жизни ничего не видывал подобного! Вы — сильфида, Зизи!

— Сильфида! Это еще звучит поэтически. А то, изволите ли видеть, наш прославленный поэт не нашел ничего лучшего, как сравнить меня с бокалом для шампанского. Да, да, у вас в «Онегине» так и сказано: «...строй рюмок узких, тонких, длинных, подобных талии твоей, Зизи, кристалл души моей!»

— «Кристалл»! — не выдержав, фыркнула Анна Николаевна. — Конечно, очень лестно быть «кристаллом»,

но, однако, ты не очень ценишь мадригалы Пушкина. Кто изорвал в клочки его любезное посвящение?

Пришел черед смутиться и Евпраксии. Она покраснела, как мальва. А Пушкин, смеясь, уже вынимал из обшлага тщательно сложенный листок бумаги.

— Стоит ли смущаться, Зизи! Я написал вам новые стихи:

Вот, Зина, вам совет! — Играйте,
Из роз веселых заплетайте
Себе торжественный венец,
Но впредь у нас не разрывайте
Ни мадригалов, ни сердец!

— Глупости! — заявила Зина и вновь потянула Пушкина за руку в сад. — Идемте лучше играть в горелки! Аннет, ты тоже с нами?..

В саду по большой липовой аллее им навстречу шла Прасковья Александровна Осипова, хозяйка дома, и уже издали улыбалась, завидев молодежь. Ее пышная, неторопливая зрелость, мягкие, полные достоинства движения, тяжелая прическа напоминали чем-то Пушкину портреты «матушки Екатерины». Но глаза у Прасковьи Александровны были добрые, русские, и, когда она смеялась, всё в ней казалось молодым и радушно-откровенным, как и в дочерях.

— А вот и Пушкин! — мягко протянула она и по-матерински поцеловала низко склоненную перед ней курчавую голову. — Вы опять к нам побездельничать и поболтать? Прекрасно. Но как же Онегин, Ленский?

— Онегин завтра дерется на дуэли. А Ленский проведет бессонную ночь и напишет туманные романтические стихи, совершенно во вкусе нашей мечтательной Аннет. Но сегодня я ни о чем не хочу думать. Сегодня день отдыха и шуток. Не правда ли, Зизи?

И молодежь, под снисходительным взглядом улыбающейся Прасковьи Александровны, побежала вдоль аллеи, к огромному дубу, где уже дожидались другие гости.

День прошел бестолково и шумно. Играли в шары, «паслись» в малиннике, долго гуляли по парку. После обеда, пользуясь тем, что все в доме ушли на покой, Пушкин, Алексей Вульф и Языков забрались в старую, покосившуюся баньку на берегу Сороти, захватив с собою бутылку вина. За шумными разговорами и стихами время незаметно пролетело до вечера. На балконе уже горели свечи. Там накрывали стол для ужина. Тянуло легкой сыростью с заречных лугов, остро пахли табаки на клумбе, из-за деревьев парка подымалась огромная оранжевая луна.

— Пушкин! А мы для вас приготовили сюрприз! — зашебетали вместе Аннет и Евпраксия. — У нас новые гости. И среди них некто, кого вы должны помнить еще с петербургских времен.

— Вот я и есть это самое «некто»! — почти пропел перед Александром Сергеевичем низкий, необычайно приятный женский голос. — Не узнаете меня, Александр?

Перед ним стояла женщина в строгом черном платье, не очень высокого роста, но удивительно соразмерная и легкая во всех своих движениях. Черная бархатка оттеняла ослепительную белизну ее слегка полнеющих плеч. Прямой пробор строго делил каштановые, гладко зачесанные волосы, а глаза были черными и тоже бархатными. И они сияли мягким, ровным светом, точно в них никогда не угасала улыбка.

— Анна Петровна Керн! — сказала Прасковья Александровна. — Знакомьтесь запово. Вы знали Анюту, когда она была еще Полторацкой. А теперь она генеральша. Ее муж командует бригадой.

Пушкин склонился к теплой, пахнувшей какими-то забытыми духами руке. Он растерялся, не зная, что сказать. В памяти возникли петербургские сутробы, подъезд ярко освещенного дома, за стеклами которого еще длился затянувшийся за полночь шумный бал. В одном скюртуке выскочив на мороз, он подсаживает в карету закутанную в меха девушку вот с этими же черными смеющимися глазами. «До свидания, Пушкин!» — говорит она, и кто бы мог тогда подумать, что встреча их состоится через столько лет. И каких горестных лет!

— Так это вы! — почти беззвучно произнес Александр Сергеевич, глядя прямо в это сияющее, как в далеком прошлом, лицо.

— Да, это я! — ответили ему дружески и просто черные, теперь уже не смеющиеся глаза.

За ужином их посадили рядом. Зазвенели рюмки, слышался веселый смех. Языков читал студенческие стихи. Но Пушкин как бы через силу принимал участие в общем веселье. Он был задумчив.

— Что с вами? — спросила его Анна Петровна.

— Так... Вспомнились петербургские молодые дни. И друзья, которых, быть может, уже не увижу. «Иных уж нет, а те далече, как Саади некогда сказал».

Задумалась и Анна Петровна. Ее рука сочувственно коснулась руки Пушкина. Он ответил ей легким дружеским пожатием.

Умная Прасковья Александровна сразу же заметила неловкую паузу в беседе. И, спасая Пушкина от подступающей к нему хандры, сразу же нашла какую-то общую тему для разговора. А когда немного оживился и Пушкин, предложила всем перейти в гостиную.

— Ну, дети, пора вспомнить и о музыке. Анна Петровна привезла с собой новые ноты, и, конечно, она не откажется спеть нам что-нибудь сегодня.

— О да, пожалуйста, пожалуйста! — подхватил Пушкин.

Анна Петровна подошла к роялю, на котором горели две свечи. Другого огня не было, и лунный свет широко лился из открытого окна. В саду слабо попискивала какая-то ночная птица, пахло цветущими липами. С берегов пруда доносилась слабая, то и дело замирающая трель лягушек.

— Что же вам спеть? — просто спросила Анна Петровна. — Нот у меня с собой действительно много, и почти все они на слова Пушкина. Ну вот хотите это?..

Пушкин сидел в самом темном углу и, подперев голову рукой, не отрываясь смотрел, как легкие пальцы Анны Петровны перебирали клавиши. Вот она подняла голову, вздохнула, и первая взятая ею нота, спокойно и ровно вырастая, поднялась, поплыла и закачалась, как цветок на гибком стебле. Ее мягкий голос, казалось, пел в нем самом, в его груди, и от этого нежной и сильной болью сжималось сердце. Боже, какой грустной была до сих пор его кочевая молодость! А ведь есть где-то и счастье, и покой, и радость широко льющегося свободного звука.

Анна Петровна взяла последний аккорд и откинулась на спинку кресла. Теперь Пушкин видел ее в профиль. Падающий на плечи локон золотился в мягком отсвете свеч. Страстная, горячая задумчивость лежала на ее тонко очерченном, почти прекрасном лице. Зашумели аплодисменты, шепот восхищения пробежал по комнате.

— А теперь «Черную шаль»! «Черную шаль»! — послышались возгласы со всех сторон.

— Нет! — решительно сказала Анна Петровна. — Этого петь я не буду. Я лучше спою вам из «Цыган». Слушайте. «Песня Земфиры». — Лицо ее вспыхнуло

дерзким и молодым огнем. Потом матовая бледность покрыла щеки, и только глаза разгорались всё ярче черным, недобрый блеском. Какая-то долго сдерживаемая, пленная сила рвалась наружу. Пушкин не узнал собственных стихов. Ему стало и сладостно, и жутко.

Старый муж, грозный муж...

Анна Петровна встала, порывисто захлопнув крышку рояля. «Еще, еще!» — просили отовсюду, но она только улыбалась в ответ и отрицательно качала головой. Пушкин подошел к ней и, целуя ее пальцы, сказал тихо, так, что слышала только она одна:

— Можно ли забыть, как вы были прекрасны!..

* * *

Вся неделя в Тригорском прошла под знаком Анны Керн. Ей предстояло быть недолгой гостьей, и потому все игры, праздники, прогулки устранились, казалось, только для нее. Пушкин повеселел. Был шумен и резв, как и прежде. Как-то он пригласил всех тригорских к себе в Михайловское, и ни для кого не было тайной, что всё это затеяно им ради Анны Петровны. Няня испекла пирог с морковью, выставила две бутылки черносмородинной домашней наливки. Гости заполнили смехом и шумной беседой просторные и пустоватые комнаты отцовского дома. Разъехались уже далеко за полночь. Пушкин верхом провожал осиповские коляски до трех сосен и долго еще махал шляпой, прислушиваясь ко всё удаляющемуся конскому топоту.

Анна Петровна уезжала на следующий день к вечеру. Александр Сергеевич подошел в самую последнюю минуту. Прощаясь, он передал Анне Петровне свежий оттиск одной из песен «Онегина» и на глазах у нее сунул листик бумаги в неразрезанные страницы.

— Прочтите это, когда будете уже далеко! — сказал он серьезно и грустно. Она поблагодарила его молчаливым и тоже грустным взглядом. Тройка тронулась. Загремел колокольчик. Пушкин, не оборачиваясь, зашагал в поля.

Дома ему не работалось. Мешала лупа, которая так и лезла в самые окна. Он вздохнул, отодвинул рукописи и вышел в сад. Мягкий лунный свет пятнами лежал на остывающих дорожках. Старые, еще ганнибаловские липы смыкали над ним свой темный прохладный свод. Сад казался безмолвным, таинственным, и нельзя было узнать самых знакомых мест. В самом деле, всё как-то преобразилось, стало иным. Да и он, разве такой он, каким был еще так недавно в патриархальном осиповском кругу! Вчера они шли с нею по этой же самой аллее, далеко отстав от гостей. Было так же темно, тихо и лунно. Узловатые старые корни пересекали заросшую тропинку. Оба они спотыкались на каждом шагу, и он раза два подхватил слабо вскрикнувшую от страха Анну Петровну. И казалось ему, что идут они — нераздельно, неразлучно — через темный лес жизни давно-давно и обязательно выйдут на залитую луной опушку. А в душе пела несмолкаемая мелодия, та самая, которая потом в одиночестве, ночью, залила мягким светом возрождения, свободы и счастья его порывисто набросанные стихи, которые можно написать только раз в жизни:

... И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

* * *

Уехала Анна Петровна, и только редкие ее письма напоминали Александру Сергеевичу о пережитом.

Снова мирная тишина Тригорского обступила его душу. И сестры, и Прасковья Александровна простили ему великодушно дни увлечения гостей, пролетевшей как комета в псковской глуши. Возобновились шарады, горелки, и «путешествия в Опочку, и фортепьяно вечером». Но невесело было у Пушкина на душе. Иные заботы тревожили его. С наступлением осени он вновь принялся за горячую работу, а всё не находил в ней покоя. Чаше и чаще вставали перед ним морозная Сенатская площадь и тени друзей, которых повезли в глушь Сибири казенные фельдъегерские тройки. Что-то будет с ним самим? Мрачная фигура императора Николая заслонила свет, словно опустили полосатый шлагбаум, преграждая дорогу вольнолюбивой мечте. Нищие крепостные поля России безмолвно мокли под серым осенним дождем. Выпал первый снежок, — осень в этом году была ранняя, — но и он не развесялил душу. Холодно и одиноко было в пустом воздухе. Пушкин целыми неделями не навещал своих соседей, снова переселился в нянину избушку и упорно работал.

Однажды прискакал в Тригорское посланный Ариной Родionoвной паренек из Михайловского. Он сообщил поразившую всех новость: утром подкатила к няниному домику бойкая казенная тройка, и усатый фельдъегерь увез с собой ошеломленного Александра Сергеевича, не дав ему и часа собраться в дорогу. Няня была в отчаянии, плакала весь день, не знала, что и подумать. Невесело приняли эту новость и в тригорском доме. Следствие по делу декабристов всё еще продолжается, и хотя новый царь уже в Москве, готовится к коронации, но всем известно, что он и там каждый день принимает с докладами ставшего теперь всемогущим шефа жандармов графа Бенкендорфа. А списки пушкинских запрещенных стихов находят у запо-

дозренных при каждом обыске. Как бы самому Пушкину не ответить за них перед Николаем!..

Прошло несколько тревожных дней, пока почта не принесла пушкинской записки, торопливо набросанной на пути, во Пскове. Выяснилось немного: везут в Москву, а что дальше будет — никому неизвестно...

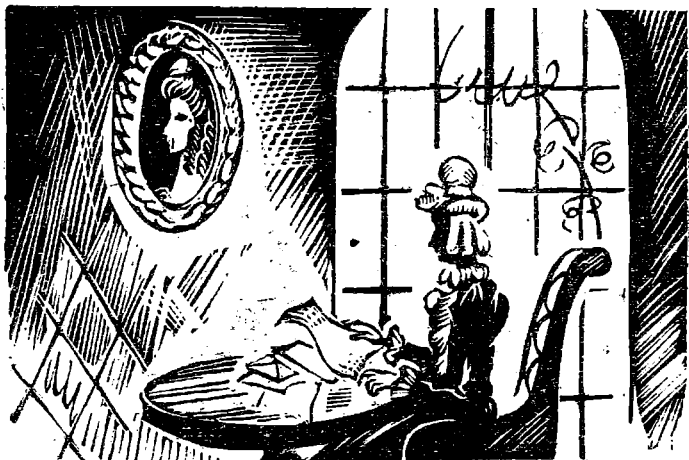
* * *

Прасковья Александровна Осипова стояла у окна в сумрачном похолодевшем зале и глядела, как кружатся на дворе редкие снежинки. Лохматая ворона присела, нахохлившись, на оголенный сучок березы. За воротами во все стороны света расстилалось бескрайнее снежное поле, и ветер, крутясь, завывал по нему легкую поземку. Всё было бело кругом, и чернела одна только дорога, пустынная и скучная, убегая куда-то по пологим холмам. Прасковья Александровна вздохнула и отошла к дивану. Там, прижавшись в угол, закутанная в оренбургскую шаль, сидела, поджав под себя ноги, необычно притихшая Евпраксия. Анна Николаевна перебирала ноты на фортепьяно, и по тому, как дрожали ее пальцы, видно было, что она вот-вот расплачется. Никто не говорил ни слова. Скучно стало в доме без Пушкина. Где-то он теперь и что с ним? Неужели опять в дорогу дальнюю, бесконечную, может быть, самую дальнюю, какую только приходилось совершать? Что за беспокойная, трудная судьба у этого человека! Где же, когда найдет себе отдых его горячее, неумное сердце? Что сулит ему новая перемена в жизни? Неужели всё то же — вечное скитанье?

И, словно отвечая на общие мысли, Анна Николаевна откинула крышку фортепьяно и тронула клавиши. Робкий и неуверенный звук пролетел по зале. Но вот уже взяты первые аккорды, крепнет голос, и мелодия

одинокого зимнего странствия на тройке, с глухо звя-
кающим колокольчиком, с песней дремлющего ям-
щика, растет, разворачивается, льется, убегая вдаль,
как бесконечный снежный путь...

Сквозь волнистые туманы
Пробирается луна,
На печальные поляны
Льет печально свет она.
По дороге зимней, скучной
Тройка борзая бежит.
Колокольчик однозвучный
Утомительно гремит...



ЕЕ ПИСЬМА

Легенда для пушкинистов

Комната, похожая на закоулки общественной библиотеки: темные проходы между сквозными полками, какие-то еще не разобранные связки на полу, обрывки бечевки под ногами, столы, сплошь заваленные книжной рухлядью, пыль всюду, куда ни прикоснешься. Успокоительная, ничем, кроме тиканья часов, не нарушаемая тишина. В темном углу — оазис мягкого кабинетного света из-под зеленого абажура настольной

лампы. За огромным, чисто прибранным столом, где каждая мелочь лежит на привычном месте, в мягких покойных креслах сам хозяин — плотный, невысокий человек с острыми, словно ощупывающими собеседника глазами. Седоватый хохолок придает ему комическое сходство с суетливой наседкой. Он стремителен и резок в движениях. Руки его, привыкшие перебирать книжные листы, ни минуты не знают покоя. Он весь словно налит ртутью, столько в нем неутомимой жизни, жадного и ненасытного интереса. В нем, несомненно, есть что-то от природного француза, хотя и живет он на Петроградской стороне, на Лахтинской улице, в комнатах, загроможденных русскими журналами девятнадцатого века, и давно уже прославлен как самый беспокойный из пушкинистов.

Это Николай Осипович Лернер, или, как он именует себя сам: «старый литературный пират с чутьем гончей и хваткой гиены».

— Вот здесь, — говорит Николай Осипович, лукаво поглядывая на меня и выдвигая длинный ящик, туго набитый глянцевыми кусочками картона, — вот здесь я в одну минуту могу отыскать нужную справку. Допустим, вы заинтересовались отношением Пушкина к Вольтеру. Пожалуйста, тут у меня занесены все места, где Пушкин говорит о Вольтере. Нужен вам Пушкин как гастроном — вот вам соответствующая карточка. Хотите знать, как он одевался и у кого шил свои жилеты, — и это уточнить не составит никакого труда. В любую минуту, по требованию любой редакции я могу написать статью о том: курил ли Пушкин? Был ли он рыболовом? Сколько раз пришлось иметь дело с Бенкендорфом? По поводу одного «донжуанского списка» я мог бы напечатать почтенный том самых исчерпывающих сведений. Хотите, я перечислю по пальцам всех посетителей салона Голицыной? Хотите, с точ-

ностью пройдохи-приказчика расскажу вам о всех угодьях и доходных статьях хозяйства Осиповых? Может быть, вас интересует послужной список отца Кюхельбекера или заграничные маршруты Василия Львовича? Ни одной мелочи пушкинской эпохи не оставляю я в пренебрежении. Все они нужны для того, чтобы знать, кто такой Пушкин. «Мелочи в жизни занимают большое место», — сказал Анатоль Франс. Я проследил жизнь Пушкина из месяца в месяц, часто даже изодня в день, когда писал свою работу «Труды и дни». Но я был в то время наивный питомец Одесского университета. Теперь я сделал бы эту книгу иначе. В сущности, я почти закончил ее в новом виде. — И Николай Осипович довольно похлопал по пухлой пачке исписанных листов.

— Конечно, Пушкин изучен у нас, как никто, — продолжал он, пододвигая мне деревянный ящичек с табаком, — но что бы нам оставалось делать, если бы не существовало и в его жизни загадочных областей и творимых легенд? Они общеизвестны, и я не буду их перечислять. Но, если хотите, поделюсь с вами одним из воспоминаний юности.

Еще в студенческие годы, занимаясь пушкинской перепиской, я был поражен одним обстоятельством: у нас много писем Пушкина к Наталии Николаевне — писем, надо сказать, вызывающих странное чувство. Блестящий собеседник, умница и остро слов, Пушкин становится совсем иным человеком, как только берется за перо, чтобы писать жене. Он не то что тускнеет, не то что притупляет свой обычный стиль, но во всех его высказываниях чувствуется какая-то напряженная развязность, внутренняя затрудненность человека, которому не всегда удается найти нужный тон, нужное слово. Он скрывает это за привычной ловкостью ни к чему не обязывающего светского разговора. Так

говорят с детьми, стараясь снисходительно войти в круг их узких интересов. Признаться, мне больно читать эти письма, за ними отчетливее, чем в другом месте, чувствую я великое пушкинское одиночество последних лет. И часто я думал: кто же такая была Наталия Николаевна? Светская ли барышня, прекрасная и глупая, как цветок придворных оранжерей? Хищница ли, выпускающая острые коготки из бархатных лапок? Царственно ли равнодушная красавица балов в Аничковом дворце или оклеветанная светским кругом «мадонна», трогательно ухаживающая за смертельно раненым мужем? Слишком много кривотолков и сплетен окружает ее имя в ходячих легендах. В самом деле, легко ли нести на себе бремя небывалой красоты и в соседстве с гениальным именем не утратить собственного человеческого облика?

Но кто же была она на самом деле? Многое из того, что мы знаем о ее жизни, свидетельствует не в ее пользу. Но есть ли что на свете обманчивее очевидности? Лучше верить пушкинскому чувству, чем неоспоримым свидетельствам ее женского легкомыслия. Он во всяком случае знал в ней то, чего не подозревает никто из нас. И как нам в интересах объективной истины могло бы помочь непосредственное, ею самою сказанное слово! Но в том-то вся и беда, что судьба не сохранила нам ни единого ее письма или хотя бы краткой записки, обращенной к мужу. А меж тем должны же существовать эти письма. Где они?

Над этим вопросом я думал мучительно и долго. Все мои розыски не привели ни к каким результатам. Ни в пушкинских бумагах, ни в архивах литературного окружения не удалось обнаружить ни строчки. Существует, правда, легенда, что дочь Наталии Николаевны после смерти матери, в то время, как известно, графини Ланской, по каким-то непонятным причинам

изъяла из семейного хранилища и увезла с собой за границу все ее бумаги, и в том числе драгоценную для нас переписку с Пушкиным. Но в этом мало утешительного для пушкинистов. Письма Наталии Николаевны считаются безнадежно утраченными.

И вот, представьте себе мою радость, когда я еще до революции услышал совершенно случайно о промелькнувшем в английских газетах известии, что у одной из старых представительниц лондонской знати в семейном архиве, среди прочих фамильных ценностей, хранятся какие-то бумаги, имеющие отношение к «великому русскому поэту». Слух этот, несомненно, нуждался в проверке. Я был тогда близок к редакции довольно странного эстетского издания, роскошно выпущавшегося на меловой бумаге и испещренного портретами высокопоставленных особ и снимками их родовых имений. Этот ежемесячник назывался «Столица и усадьба» и имел подзаголовок «Журнал красивой жизни». Там удавалось мне время от времени печатать кое-что относящееся к редким книгам или к истории старого Петербурга. Я надеялся, что заинтересую снобов-издателей своей новостью, и не ошибся в расчетах. В погоне за очередной сенсацией решено было не пожалеть денег и отправить в Лондон специального посланца с деликатным поручением узнать что возможно и, если удастся, выкупить интересующие нас бумаги. Выбор пал на человека, имя которого я называть вам не стану. Скажу только, что это был исключительно ловкий журналист, превосходно говорящий по-английски, а характером и оборотистостью могущий поспорить с самим Фигаро. Не теряя лишнего времени, мы отправили его в путь и с трепетом ждали первых известий. Прошла неделя, другая, месяц — от него не было ни слова. Наконец явился он сам — и тогда, собравшись в редакции, мы выслушали необычайный рассказ.

— Так вот, дорогие мои коллеги, — начал этот сухопарый, спортивного вида человек лет сорока, с прямым пробором и коротко подстриженными, седеющими усиками. Яркий перстень горел на его пухлом холеном мизинце. У него был мягкий, но точный жест и поразительно гибкий голос. Ему сопутствовала слава искусного дипломата. И, что важнее всего, он и сам был незаурядным пушкинистом. — Так вот, прпехал я в Лондон в очень неблагоприятный момент. Это был «уик энд», конец недели, когда каждый порядочный англичанин, закончив дела, спешит за город для узаконенного веками отдыха. Тем не менее мне всё же удалось разыскать одного из давних приятелей, журналиста Файта, живущего в самых близких окрестностях. За дачным вечерним чаем я рассказал ему о цели своего приезда.

— Н-да-а-а! — протянул он раздумчиво и почесал переносицу. — Дело это нелегкое, и вам придется немало с ним повозиться. Вы имеете смутное представление о лондонском обществе, тем более о самой его аристократической верхушке. Но я постараюсь помочь вам, чем могу.

Начнем с пресловутого сообщения в газетах. Я его смутно припоминаю, и восстановить точный текст не составит особого труда. Вы где остановились? Кембридж-стрит, сорок три? Знаю эту гостиницу. В понедельник утром, в десять часов двадцать минут, я звоню вам. Может быть, выяснится что-либо дополнительное. А пока забудем о делах. На сегодня вы мой гость. Через полчаса мы отправляемся на ближайшее озеро. Скажите, вы любите рыбную ловлю?

Субботний вечер провели мы довольно приятно, а утром я вернулся в Лондон и полностью обрек себя воскресной скуке. В понедельник, точно в назначенное время, на моем столе задребезжал телефон.

— Мистер такой-то? Приветствую вас. Это Файт. Дело проясняется, хотя и не настолько, как я ожидал. Заметка действительно была, но в ней нет ни слова о бумагах из архива Пушкина. Речь идет о библиотеке весьма престарелой и знатной леди, живущей в родовом поместье в южной части Англии. — И называет мне фамилию.

— Боже мой! Да это ведь как раз то, что мне нужно! По всем геральдическим данным это весьма близкая ветвь пушкинского потомства. Не может быть, чтобы я не нашел чего-нибудь интересного в ее семейном архиве.

— Прекрасно! Вот вам точный адрес. Вы потратите всего несколько часов, чтобы доехать до места. Я желаю вам всяческого успеха. Но вы не должны закрывать глаза на трудность своего предприятия.

— А в чем дело?

— Вы еще не знаете, какой замкнутый круг представляет собой староанглийская аристократия. Нелегко проникнуть в эту среду. Вам, несомненно, будут чинить всякие препятствия.

— Так что же делать?

— Позвольте дать вам небольшой дружеский совет. Миледи Н. обладает одним из живописнейших поместий нашей страны. Ее замок, один из самых древнейших, тесно связан с некоторыми примечательными моментами в истории рода Стюартов. И ни один аристократ не откажет солидному посетителю в осмотре его исторических достопримечательностей, разумеется по предварительному соглашению. Для этого даже назначен особый день недели. Это — незыблемая традиция.

— Прекрасно! За рекомендациями дело не станет. Мне помогут мои лондонские друзья. По некоторым соображениям, согласно инструкциям, полученным мною из моей редакции, мне не хотелось бы вмешивать

в это дело русское посольство. Все мои мероприятия до поры до времени должны быть облечены профессиональной тайной. Во всяком случае, до момента опубликования найденных мной материалов.

— Я вас понимаю и охотно окажу вам свою помощь в Королевском Историческом Обществе. Но позвольте добавить еще один совет. Не теряя времени, обложитесь книгами по истории Стюартов, чтобы не попасть впросак при каком-нибудь предварительном вопросе.

— Всё будет сделано. Я кладу на это дело неделю или, быть может, даже дней десять.

— Ну что же! Полагаю, этого будет достаточно. Однако есть и еще одно обстоятельство, весьма затрудняющее доступ к этой уважаемой леди. Она живет уединенно, почти никого не принимает. Ей около семидесяти лет, и она полна всевозможных старческих причуд, к которым присоединяется непомерное высокомерие и крайняя родовая щепетильность. Вы не носите никакого титула, и может случиться, что она вовсе откажется вас принять.

— Не беспокойтесь. Мне нужно только получить доступ в замок, хотя бы как простому посетителю. Остальное сложится по обстоятельствам.

— Желаю успеха. Рекомендую также нигде, ни при каких условиях не называть себя журналистом. В ушах английской знати это плохая рекомендация.

— Я это прекрасно понимаю. Итак, благодарю вас за ценные сведения, мистер Файт... — И я повесил трубку.

Мне предстояла нелегкая задача, но я ей отдался со всем пылом охотника, предчувствующего близкую добычу. Почти полмесяца регулярно посещал библиотеку Британского музея, пристально изучил ветвистое древо нужного мне рода, справками и заметками ис-

писал две объемистые тетради. Побывал и у двух-трех полуглухих старцев профессорского звания и не без труда запасся от них нужными мне рекомендательными письмами, для чего мне пришлось выдумать тему несуществующей университетской диссертации. Наконец всё было готово, и я почувствовал себя вооруженным необходимыми познаниями. Профессиональная ловкость должна была помочь мне счастливо обойти неизбежные пробелы, вполне, впрочем, извинительные для иностранца.

Рано утром в начале июня я выехал из Лондона.

Поезд выбросил меня на захолустной и довольно живописной станции в южной Англии. Без особого труда удалось найти фермера, который согласился отвезти меня на своей одноколке в нужное селение. Мы покатались по прекрасной дороге между зеленых холмов и там и сям раскиданных ферм с темно-красной черепичной крышей. Солнце спускалось и золотило буковые рощи. Овечьи стада в облаке пыли медленно брели к ночным закутам.

По дороге я расспрашивал своего возницу о мистере N., но он мало мог сообщить мне интересного. Когда мы въезжали в селение, было уже темно. Хозяин местной гостиницы встретил меня довольно радушно, не обнаруживая особого удивления, — любители древностей в этих местах не редкость. После сытного ужина в общей зале гостиницы перед традиционным камином, который весело пылал, несмотря на летнее время, я поднялся в отведенную мне комнату на втором этаже и задержал провожавшего меня слугу, надеясь по испытанному способу всех детективных романистов узнать у него что-нибудь о владельце замка. Он сообщил мне почти то же, что знал я и раньше, добавив только, что посетителей допускают по пятницам и что сама леди никогда не показывается из своих

комнат. Она ведет настолько замкнутый образ жизни, что даже обитатели деревни очень редко видят ее, да и то лишь в то время, когда она выезжает на прогулку или в церковь. О ее привычках передают очень много странных слухов, но он не придает им значения. Ему просто кажется, что старая леди ищет покоя и не терпит никакого вмешательства в свою частную жизнь. В конце концов, это ее право, которого никто не собирается у нее оспаривать. Если я хочу осмотреть замок, лучше всего послать предварительно свою визитную карточку.

Утром я последовал благоразумному совету и, отправив владелице замка несколько любезных слов, стал ждать ответа. Он пришел только к обеду. В очень вежливых, но холодных выражениях миледи сообщала, что она лишена удовольствия встретиться со мною. Что же касается посещения замка, то она рекомендует мне обратиться к своему дворецкому на общих основаниях.

Это было неутешительно. И хотя я побывал в открытых для обозрения апартаментах и даже вступил в частные переговоры с суховатым, угрюмым дворецким, все мои притязания остались безрезультатными. Меня решительно отказывались принять. В состоянии вполне понятного раздражения я вернулся в гостиницу. Неужели придется ни с чем уезжать в Лондон? Хозяин принял живейшее участие в моих сетованиях.

— Да, — сказал он, попыхивая короткой трубкой, — вам решительно не повезло. Вот если бы вы были собачником, вы бы скорее добились свидания с миледи.

— Как? Вы говорите, миледи — любительница собак?

— Да еще какая! У нее собраны самые редкие породы, и она души в них не чает. Мне говорил кое-кто

из слуг, что им житья нет от этого четвероногого населения. Представьте себе, чуть ли не каждый день приглашают собачьего доктора, иногда даже из самого Лондона.

Новая идея осенила меня, но я не стал, разумеется, посвящать хозяина в свои планы. Я щедро расплатился с ним и уехал на станцию.

Новые заботы охватили меня в Лондоне. Теперь уже не ученые архивы стали предметом моих изысканий, а собачьи выставки и специальные справочники по этой совершенно неведомой мне раньше области знаний. Чего-чего не делают люди ради изучения творчества Пушкина, но с уверенностью могу сказать, что никто из них не шел к своей цели столь странным путем. Почувствовав себя более или менее твердым в принципиальных вопросах кинологии, я написал миледи длинное письмо, обнаружив в нем недюжинную эрудицию, — конечно, с помощью соответствующих словарей. Стоит ли добавлять, что подписал я его уже новым именем.

Ответ не замедлил, и на этот раз гораздо более любезный. Меня приглашали посетить замок и лично убедиться в непревзойденных качествах новой породы комнатной болонки. На этот раз я ехал уже окрыленный надеждами. В тот же день дворецкий, сменивший прежнюю неприступность утонченной любезностью, провел меня в личные комнаты. Навстречу мне поднялась очень старая леди в седых буклях, всем своим обликом напоминавшая графиню из «Пиковой дамы». Кроме этого чисто внешнего сходства, тщетно было бы искать в ней чего бы то ни было пушкинского. Да и вряд ли знала она хотя бы одно русское слово. А ведь была же в ней какая-то капля наследственной крови!

Мы начали чопорную и отменно вежливую беседу, которая стоила мне огромного напряжения, так как

я ни единым словом не должен был обнаружить своего дерзкого невежества. Но я, кажется, честно вышел из всех затруднений. Ни один из прямых вопросов не поставил меня в тупик. Наш разговор вступил в фазу той оживленности, которая свойственна всякому общению завязавших любителей. Я был удостоен приглашения посетить знаменитый собачник. На целые полчаса слух мой был оглушен непрерывным визгом, лаем, завыванием двух-трех десятков самых благородных представителей собачьего рода. В глазах рябило от беспрерывного мелькания гладких и мохнатых хвостов. Я гладил и покорно виляющих, и глухо рычащих псов, с понимающим видом заворачивал им уши, щупал коленные суставы, каждую минуту рискуя большими неприятностями. Но всё обошлось благополучно. А некоторые мои замечания явно понравились любительнице собачьих генеалогий. Я был отпущен с самыми милостивыми словами и — неслыханное дело — приглашен продолжить завязавшийся принципиальный спор завтра за вечерним чаем.

Я торжествовал. Мне представлялся счастливый случай перевести разговор на более близко интересующую меня тему. Как я благодарил судьбу за то, что был осторожен и в этот день ни единым словом не обмолвился об истинной цели своего посещения!

На следующий день, сидя за столом в обществе старой леди, я рискнул наконец приблизиться к делу:

— Простите меня, миледи. Вы видите во мне не только страстного любителя благородных четвероногих друзей человечества, но и большого ценителя английской средневековой старины. В один из прежних приездов я успел посетить все археологические достопримечательности вашего графства.

— Вы видели мою семейную галерею?

— Ну как же, в первый день своего приезда. — И тут я блеснул хорошим знанием геральдических отвлечений знаменитого рода.

Это ещё более расположило в мою пользу носительницу славного исторического имени. Беседа наша начала приобретать вполне дружеский характер. Незаметно я подвел ее к вопросам библиотеки и семейных архивов.

— Как жаль, что сейчас отсутствует ее хранитель. Он вернется только завтра, — любезно сказала миледи. — Но я сама постараюсь быть вашим проводником.

Мы перешли в небольшое, но уютно обставленное книгохранилище. Там, перелистывая старинные фолианты с фамильными гербами на тугих кожаных переплетах, я спросил как бы невзначай, стараясь придать своему голосу самую невозмутимую небрежность:

— Скажите, миледи, а у вас нет ничего относящегося к истории моего отечества? Помнится, двоюродный дед ваш по отцовской линии имел прямое отношение к дипломатическим отношениям с Россией. Не сохранилось ли каких-либо рукописных материалов?

— Конечно, у меня есть целая пачка русских бумаг, но я в них не понимаю ни слова. Вот она. Проглядите ее, если она вас интересует.

Трепещущими пальцами я перебрал несколько пожелтевших пачек и сразу же увидел то, ради чего приехал в это захолустье. У кого из пушкинистов не забилось бы сердце в эту минуту?

— Я вижу, вас интересует связка этих писем, — с улыбкой заметила миледи. — Я не знаю, что это такое, и была бы вам признательна, если бы вы сказали мне, о чем там идет речь.

— О, ничего особенного! Какая-то частная переписка, — ответил я, лихорадочно перебирая листки, помеченные тридцатыми годами прошлого века. — Разговор о семейных делах, просьбы беречь себя, писать чаще. Очевидно, письма от жены какому-то русскому чиновнику, служившему при посольстве. Но для меня и это представляет некоторый бытовой интерес.

— Я вполне понимаю вас, — удостоила меня леди новой улыбки. — Приятно увидеть родные буквы в чужой, хотя и дружественной, стране.

— О, если вы понимаете это, миледи, я надеюсь, вы не откажете мне и в моей дерзкой просьбе.

— Вам, наверное, хочется иметь эти письма?

— Миледи, вы угадываете мои желания, — воскликнул я, может быть, с несколько излишней поспешностью.

— Нет ничего проще: увезите их с собой на память о наших беседах, — сказала она милостиво, хотя и не без некоторой высокомерности. — Завтра утром я пришлю вам в гостиницу эти интересующие вас бумаги.

— О, миледи! — пробормотал я в сильном смущении. — Если бы вы знали, насколько этот пустяк дорог для меня, как для русского. Здесь есть, правда очень мимолетное, упоминание имени нашего великого поэта Пушкина. Да, да, миледи, и этим ваш подарок приобретает для меня особую ценность.

Старуха помолчала с минуту и наконец с несколько холодным достоинством наклонила седую голову.

Я шел из замка не чуя под собой ног. Всё удалось как нельзя лучше и гораздо проще, чем можно было ожидать. Я с удовольствием заказал себе в деревенском кабачке жирную яичницу с ветчиной и добрую кружку эля. Утром повозка хозяина должна была отвезти меня на станцию железной дороги. Перед сном я погулял с полчаса по живописной тропинке среди

кадосьев ячменя, любуюсь мутно-красной, медленно восходящей луной. Даже сизый тяжелый туман, цепляющийся за кусты вдоль извилистой речки, показался мне очаровательным. В эту ночь я спал сном праведника, без всяких сновидений.

Разбудил меня осторожный стук в дверь. Трактирный слуга просунул ко мне свою лохматую голову:

— Дворецкий миледи принес вам письмо из замка.

Я лихорадочно разорвал конверт. В изысканных и точных выражениях леди N. сообщала, что по здравом размышлении и после разговора с вернувшимся хранителем библиотеки она вынуждена изменить свое вчерашнее решение относительно передачи мне писем, составляющих часть ее семейного архива. А чтобы у меня не оставалось грустного чувства от посещения одного из самых старых и самых красивых замков южной Англии и его скромной обитательницы, она просит меня принять небольшой подарок, который несомненно доставит мне искреннее удовольствие.

Вместе с тем она желает своему любезному гостю счастливого возвращения на родину.

Я был так потрясен этой неожиданностью, что даже не заметил, как удалился дворецкий. Потом развязал переданный им пакет. В нем оказалась объемистая рукопись. Буквы прыгали у меня перед глазами, когда я читал ее название: «К вопросу о молочном-осином режиме полуторамесячных фокстерьеров слабого телосложения, а также несколько полезных соображений о нравственном воспитании шотландских колли в переходном возрасте»...

Через полчаса мне уж закладывали двуколку. Нечего и говорить, что уезжал я в весьма расстроенных чувствах.

Когда в Лондоне я рассказал свое грустное приключение мистеру Файту, не скрывая ни одной детали,

он лукаво поглядел на меня и добавил со снисходительной улыбкой:

— А вы так и не понимаете, в чем дело?

— Не имею никакого представления. Очевидно, очередная причуда выжившей из ума старухи?

— Э, нет! Всё это не так просто. Вы опять-таки не учли одного, чисто английского обстоятельства. В вашей стране родство с Пушкиным великая честь. Не то для некоторой части высшей английской аристократии. Она ревниво блюдет свои родословные предрассудки. Что, если вся Англия узнает, что в жилах старинной фамилии есть капелька негритянской крови? Какой скандал! Сознаться: вы и не подумали об этом?

— Мне это и в голову не могло прийти.

— Вот видите. Так или иначе, дело ваше совершенно безнадежно.

Сердито ткнув папиросу в пепельницу, я принужден был согласиться с мистером Файтом. В тот же день я взял билет в паровой конторе — и вот сижу сейчас перед вами с повинной головой. Меня даже не утешает сознание, что я сделал всё, что мог.

Мы все, присутствующие в редакции, только развели руками. Но наш сотрудник, упрямо тряхнув головой, произнес тоном неколебимого убеждения:

— Но я их все-таки добуду!

Он собирался осенью снова ехать в Англию, но вскоре грянула первая мировая война. Письма Наталии Николаевны к Пушкину, как и многое другое, отошли на второй план. Да и всех нас разметала судьба в разные стороны. Я даже не знаю, что стало с нашим сотрудником. Уже в советское время я пытался навести справки о миледи N. Мне сообщили, что она умерла зимою шестнадцатого года и что всё ее имущество передано наследственным актом одной из внучек в Америку. Судьба писем до сих пор остается

неизвестной, да вряд ли они и сохранились. Но если эти письма и существуют где-нибудь, то у них еще меньше шансов появиться на свет.

Николай Осипович взъерошил свои седеющие волосы, крикнул с досадой и прошелся из угла в угол.

— Всё это суцая правда. Но что толку, если пушкинovedение обогатилось еще одной легендой?

И он посмотрел на загадочные миндалевидные глаза черноволосой красавицы с жемчужными обнаженными плечами и бархаткой на гибкой шее.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ФРОНТОВАЯ ЗЕМЛЯНКА

Колокола Софии	9
Три знака	15
Индивидуальный пакет	29
«Анна Каренина»	36
Одна шестнадцатая	41
Букач	50
Иван Афанасьевич	61
Копь Петра	66
Весна Ленинграда	75

ВСТРЕЧИ В ИСКУССТВЕ

Таинственный Бальзак	85
Ньютон и его гости	95
Мансарда Беранже	103
Кулисы	110
«Не верю...»	120
Дон-Жуан	123
Ледяная Дева	142
Кипарис Пушкина	156
Тригорское	161
Ее письма	173

**Всеволод Александрович
Рождественский**

„ШКАТУЛКА ПАМЯТИ“

Редактор Н. Чечулина

Художник Т. Гофьян

Художник-редактор О. Маслаков

Технический редактор Л. Пинитина

Корректор Т. Мельникова

Сдано в набор 11/II 1972 г. Подписано к печати 5/VI 1972 г. Формат бумаги 70×108¹/₂. Бум. тип. № 1. Усл. печ. л. 8,4. Уч.-изд. л. 7,4. Тираж 100 000 экз. М. 19730. Заказ № 534.
Цена 35 коп.

Лениздат, Ленинград, Фонтанка, 59
Ордена Трудового Красного Знамени типо-
графия им. Володарского Лениздата,
Фонтанка, 57